

И. С. ТУРГЕНЕВ

НЕСЧАСТНАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

И. С. ТУРГЕНЕВ

НЕСЧАСТНАЯ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

Текст печатается по изданию:
И. С. Тургенев. Собрание сочинений
в двенадцати томах, т. 7,
Гослитиздат, 1955

...Да, да,— начал Петр Гаврилович,— тяжелые то были дни... и не хотелось бы возобновлять их в памяти... Но я дал вам обещание; придется все рассказать. Слушайте.

I

Я жил тогда (зимою 1835 года) в Москве, у тетушки, родной сестры покойной матушки. Мне было восемнадцать лет: я только что перешел со второго на третий курс «словесного» факультета (в то время он так назывался) в Московском университете. Тетушка моя была женщина тихая и кроткая, вдова. Она занимала большой деревянный дом на Остоженке, теплый-претеплый, каких, я полагаю, кроме Москвы, нигде не найдешь, и почти ни с кем не видалась, сидела с утра до вечера в гостиной с двумя компаньонками, кушала цветочный чай, раскладывала пасьянс и то и дело приказывала покурить. Компаньонки бежали в переднюю; несколько минут спустя старый слуга в ливрейном фраке приносил медный таз с пучком мяты на раскаленном кирпиче и, торопливо выступая по узким половикам, поливал ее уксусом. Белый пар обдавал его сморщенное лицо, он хмурился и отворачивался, а канарейки в столовой так и трещали, раздраженные шипением курева.

Тетушка очень любила и баловала меня, круглого сироту. Она отдала весь антресоль в полное мое распоряжение. Меблированы были мои комнаты весьма изящно, уж вовсе не по-студенчески: в спальне красовались розо-

вые занавески, и кисейный полог с голубыми помпончиками возвышался над кроватью. Эти помпончики меня, признаюсь, несколько смущали: по моему понятию, подобные «нежности» должны были уронить меня в глазах моих товарищей. Они и без того прозвали меня институткой: я никак не мог заставить себя курить табак. Занимался я, что греха таить, плохо, особенно в начале курса: много выезжал. Тетушка подарила мне широкие генеральские сани с медвежьею полостью и пару откормленных вяток[1]. «Благородные» дома я посещал редко, но в театре был как свой — и пропасть поедал пирожков по кондитерским. Со всем тем я никаких бесчинств себе не позволял и вел себя скромно, «un jeune homme de bonne maison»[2]. Я бы ни за что не согласился огорчить мою добрую тетушку; к тому же и кровь у меня довольно спокойно обращалась в жилах.

II

Я с ранних лет пристрастился к шахматам; о теории не имел понятия, а играл недурно. Однажды в кофейной мне пришлось быть свидетелем продолжительной шахматной баталии между двумя игроками, из которых один, белокурый молодой человек лет двадцати пяти, мне показался сильным. Партия кончилась в его пользу; я предложил ему сразиться со мной. Он согласился... и в течение часа разбил меня, шутя, три раза сряду.

— У вас есть способность к игре,— промолвил он учтивым голосом, вероятно заметив страдание моего самолюбия,— но вы дебютов не знаете. Вам надо книжку почитать, Аллгайера или Петрова[3].

— Вы думаете? Но где могу я такую книжку достать?

— Приходите ко мне; я вам дам.

Он назвал себя и сказал, где квартирует. На другой день я отправился к нему, а неделю спустя мы уже почти не расставались.

---

[1] Вятки — одна из северных пород лошадей.

[2] Как юноша из хорошей семьи *(франц.)*.

[3] Аллгайер — Альгайер Иоганн (1763—1823), автор практического руководства по шахматной игре. Петров А. Д. (1794—1867) — выдающийся русский шахматист-теоретик.

III

Нового знакомца моего звали Александром Давыдовичем Фустовым. Он жил у своей матери, довольно богатой женщины, статской советницы, в отдельном флигельке, на полной свободе, так же как я у тетушки. Он числился на службе по министерству двора. Я привязался к нему искренне. В жизни моей я еще не встречал молодого человека более «симпатичного». Все в нем было миловидно и привлекательно: его стройная фигура, его походка, голос и в особенности его небольшое тонкое лицо с золотисто-голубыми глазами, с изящным, как бы кокетливо вылепленным носиком, с неизменно-ласковою улыбкой на алых губах, с легкими кудрями мягких волос над немного суженным, но белоснежным лбом. Нрав Фустова отличался чрезвычайною ровностью и какою-то приятною, сдержанною приветливостью; он никогда не задумывался, всегда был всем доволен; зато ни от чего не приходил в восторг. Всякое излишество, даже в хорошем чувстве, его оскорбляло: «Это дико, дико»,— говаривал он в таком случае, чуть-чуть пожимаясь и прищуривая свои золотистые глаза. И удивительные же были глаза у Фустова! Они постоянно выражали участие, благоволение и даже преданность. Я только впоследствии времени заметил, что выражение его глаз зависело единственно от особенного их склада, что оно не менялось и тогда, когда он кушал суп или закуривал сигарку. Аккуратность его вошла между нами в пословицу. Правда, бабка его была из немок. Природа наделила его разнообразными способностями. Он отлично танцевал, щегольски ездил верхом и плавал превосходно, столярничал, точил, клеил, переплетал, вырезывал силуэтки, рисовал акварелью букет цветов или Наполеона в профиль в лазоревом мундире, с чувством играл на цитре, знал множество фокусов, карточных и иных, и сведения имел порядочные в механике, физике и химии, но все в меру. Одни языки ему не дались: даже по-французски он изъяснялся довольно плохо. Он вообще говорил мало и в наших студенческих беседах участвовал больше оживленною мягкостью взгляда и улыбки. Женскому полу Фустов нравился безусловно, но об этом, для молодых людей весьма важном вопросе, не любил распространяться и вполне

заслуживал данное ему товарищами прозвище «скромного Дон Жуана». Я не удивлялся Фустову; удивляться в нем было нечему, но я дорожил его расположением, хотя в сущности оно выражалось только тем, что он во всякое время допускал меня до своей особы. В моих глазах Фустов был самым счастливым человеком на свете. Жизнь его текла именно по маслу. Мать, братья, сестры тетки, дядья — все его обожали, он жил с ними со всеми в ладах необыкновенных и пользовался репутацией образцового родственника.

IV

Однажды я забрался к нему довольно рано и не застал его в кабинете. Он окликнул меня из соседней комнаты: фыркание и плескотня доносились оттуда до моего слуха. Каждое утро Фустов обливался холодною водой и потом около четверти часа предавался гимнастическим упражнениям, в которых достиг замечательного мастерства. Излишних забот о здоровье тела он не допускал, но не забывал необходимых. («Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись!» — было его девизом.) Фустов еще не появлялся, как наружная дверь комнаты, в которой я находился, растворилась настежь, и вошел человек лет пятидесяти, в мундирном фраке, коренастый, плотный, с молочно-белесоватыми глазами на избура-красном лице и настоящею шапкой седых курчавых волос. Человек этот остановился, посмотрел на меня, широко разинул большой свой рот и, захохотав металлическим хохотом, хлестко ударил себя ладонью по ляжке сзади, причем высоко вынес ногу вперед.

— Иван Демьяныч? — спросил из-за двери мой приятель.

— Он самый и есть,— отозвался вошедший.— А вы что ж это? туалет свой совершаете? Дело! Дело! (Голос человека, прозывавшегося Иваном Демьянычем, звучал, так же как и смех его, чем-то металлическим.) Я к братишке вашему припер было урок давать; да он, знать, простудился, чихает все. Действовать не может. Вот я и завернул к вам пока, отогреться.

Иван Демьяныч опять засмеялся тем же странным смехом, опять звучно шлепнул себя по ляжке и, достав клетчатый платок из кармана, высморкался громко, с

свирепым вращеньем глаз, и, плюя в платок, воскликнул во все горло: «Тьфу-у-у!»

Фустов вошел в комнату и, подав нам обоим руку, спросил нас, знакомы ли мы друг с другом?

— Никак нет-с,— тотчас загремел Иван Демьяныч,— ветеран двенадцатого года чести сей не имеет!

Фустов назвал сперва меня, потом, указав на «ветерана двенадцатого года», промолвил: «Иван Демьяныч Ратч, преподаватель... разных предметов».

— Именно, именно разных предметов,— подхватил г. Ратч.— Чему, подумаешь, я только не учил, да и теперь не учу! И математике, и географии, и статистике, и италиянской бухгалтерии, ха-ха-ха-ха! и музыке! Вы сомневаетесь, милостивый государь? — накинулся он вдруг на меня.— Спросите Александра Давыдыча, каково я на фаготе отличаюсь? Какой же я был бы в противном случае богемец, чех сиречь? Да, сударь, я чех, и родина моя — древняя Прага! Кстати, Александр Давыдыч, что вас давно не видать? Дуэтец бы разыграли... ха-ха! Право!

— Я у вас третьего дня был, Иван Демьяныч,— отвечал Фустов.

— Да это я и называю давно, ха-ха!

Когда г. Ратч смеялся, белые глаза его как-то странно и беспокойно бегали из стороны в сторону.

— Вы, я вижу, молодой человек, поведенцу моему удивляетесь,— обратился он опять ко мне.— Но это происходит оттого, что вы еще не знаете моей комплекции. Вы осведомьтесь обо мне у нашего доброго Александра Давыдыча. Что он вам скажет? Он вам скажет, что старик Ратч — простяк, русак, хоть и не по происхождению, а по духу, ха-ха! При крещении наречен Иоганн-Дитрих, а кличка моя — Иван Демьянов! Что на уме, то и на языке; сердце, как говорится, на ладошке, церемониев этих разных не знаю и знать не хочу! Ну их! Заходите когда-нибудь ко мне вечерком, сами увидите. Баба у меня, жена то есть, простая тоже; наварит нам, напекет... беда! Александр Давыдыч, правду я говорю?

Фустов только улыбнулся, а я промолчал.

— Не брезгайте старичком, заходите,— продолжал г. Ратч.— А теперь... (Он выхватил толстые серебряные часы из кармана и поднес их к выпученному правому глазу.) Мне, я полагаю, лучше отправиться. Другой пте-

нец меня ожидает... Этого я черт знает чему учу... мифологии, ей-богу! И далеко же живет, ракалья! у Красных ворот! Все равно: пешкурой отмахаю, благо братец ваш скиксовал, ан пятиалтынный на извозчика цел, в мошне остался! Ха-ха! Прощения просим, мосьпа́не, до зобачения![1] А вы, молодой человек, заверните... Что ж такое?.. Дуэтец беспременно надо разыграть! — крикнул г. Ратч из передней, со стуком надевая калоши, и в последний раз раздался его металлический смех.

V

— Что за странный человек?! — обратился я к Фустову, который успел уже приняться за токарный станок. — Неужели он иностранец? Он так бойко говорит по-русски.

— Иностранец; только он уж лет тридцать как поселился в России. Его чуть ли не в тысяча восемьсот втором году какой-то князь из-за границы вывез... в качестве секретаря... скорее, полагать надо, камердинера. А выражается он по-русски точно бойко.

— Так залихватски, с такими вывертами и закрутасами,— вмешался я.

— Ну да. Только очень уж ненатурально. Они все так, эти обрусевшие немцы.

— Да ведь он чех.

— Не знаю; может быть. С женой он беседует понемецки.

— А почему он себя ветераном двенадцатого года величает? Служил он, что ли, в ополчении?

— Какое в ополчении! Во время пожара в Москве оставался и имущества всего лишился... Вот вся его служба.

— Да зачем же он оставался в Москве?

Фустов не переставал точить.

— Господь его знает! Слышал я, будто он у нас в шпионах состоял; да это, должно быть, пустое. А что за свои убытки он от казны вознаграждение получил, это верно.

— На нем мундирный фрак... Он, стало, служит?

[1] До зобачения (do zobaczenia — *польск.)* — до свидания.

— Служит. В кадетском корпусе преподавателем. Он надворный советник.

— Кто его жена?

— Здешняя немка, дочь колбасника... мясника...

— И ты часто к нему ходишь?

— Хожу.

— Что ж, весело у них?

— Довольно весело.

— У него есть дети?

— Есть. От немки трое и от первой жены сын и дочь.

— А сколько старшей дочери лет?

— Лет двадцать пять.

Мне показалось, что Фустов ниже пригнулся к станку, и колесо шибче заходило и загудело под мерными толчками его ноги.

— Хороша она собой?

— Как на чей вкус. Лицо замечательное, да и вся она... замечательная особа.

«Ага!» — подумал я. Фустов продолжал свою работу с особенным рвением и на следующий вопрос мой отвечал одним мычанием.

«Надо будет познакомиться!» — решил я про себя.

VI

Несколько дней спустя мы вместе с Фустовым отправились к г. Ратчу на вечер. Жил он в деревянном доме с большим двором и садом, в Кривом переулке возле Пречистенского бульвара. Он вышел к нам в переднюю и, встретив нас свойственным ему трескучим хохотом и гамом, тотчас повел в гостиную, где представил меня дородной даме в камлотовом тесном платье, Элеоноре Карповне, своей супруге. Элеонора Карповна в первой молодости отличалась, вероятно, тем, чтó французы, неизвестно почему, называют «красотою диавола», то есть свежестью; но когда я с ней познакомился, она невольно напоминала взору добрый кусок говядины, только что выложенный мясником на опрятный мраморный стол. Не без намерения употребил я слово «опрятный»: не только сама хозяйка казалась образцом чистоты, но и все вокруг нее, все в доме так и лоснилось, так и блистало;

все было выскребено, выглажено, вымыто мылом; самовар на круглом столе горел, как жар; занавески перед окнами, салфетки так и коробились от крахмала, так же как и платьица и шемизетки[1] тут же сидевших четырех детей г. Ратча, дюжих, откормленных коротышек, чрезвычайно похожих на мать, с топорными крепкими лицами, вихрами на висках и красными обрубками пальцев. У всех четырех были носы несколько приплюснутые, большие, словно припухшие губы и крошечные светлосерые глаза.

— Вот и моя гвардия! — воскликнул г. Ратч, кладя свою тяжелую руку поочередно на головы детей.— Коля, Оля, Сашка да Машка! Этому восемь, этой семь, этому четыре, а этой целых два! Ха-ха-ха! Как изволите видеть, мы с женой не зеваем. Эге? Элеонора Карповна?

— Уж вы всегда все такое скажете,— промолвила Элеонора Карповна и отвернулась.

—И писклятам своим все такие русские имена понадавала! — продолжал г. Ратч.— Того и смотри, в греческую веру их окрестит! Ей-богу! Славянка она у меня, черт меня совсем возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка?

Элеонора Карповна рассердилась.

— Я надворная советница, вот кто я! И, стало быть, я русская дама, и все, что вы теперь будете говорить...

— То есть как она Россию любит, просто беда! — перебил Иван Демьяныч.— Вроде землетрясенья, ха-ха!

— Ну, и что ж такое? — продолжала Элеонора Карповна.— И, конечно, я Россию люблю, потому где же бы я могла получить дворянский титул? И мои дети тоже теперь ведь благородные? Kolia, sitze ruhig mit den Füssen![2]

Ратч махнул на нее рукой.

— Ну, ты, Сумбека царица, успокойся! А где «благородный» Викторка? Чай, все шляется, куда попало! Уж наскочит он на инспектора! Задаст он ему трепание! Das ist ein Bummler, der Victor![3]

— Dem Victor kann ich nicht kommandieren, Иван

[1] Шемизетка — женская блузка или вставка в женских платьях

[2] Коля, сиди смирно, не болтай ногами! *(нем.)*

[3] Виктор такой гуляка! *(нем.)*

Демьяныч. Sie wissen wohl![1] — проворчала Элеонора Карповна.

Я посмотрел на Фустова, как бы желая окончательно добиться от него, что заставляло его посещать подобных людей... но в эту минуту вошла в комнату девушка высокого роста в черном платье, та старшая дочь г. Ратча, о которой упоминал Фустов... Я понял причину частых посещений моего приятеля.

VII

Помнится, где-то у Шекспира говорится о «белом голубе в стае черных воронов»;[2] подобное впечатление произвела на меня вошедшая девушка: между окружавшим ее миром и ею было слишком мало общего; казалось, она сама втайне недоумевала и дивилась, каким образом она попала сюда. Все члены семейства г. Ратча смотрели самодовольными и добродушными здоровяками; *ее* красивое, но уже отцветающее лицо носило отпечаток уныния, гордости и болезненности. *Те*, явные плебеи, держали себя непринужденно, пожалуй, грубо, но просто; тоскливая тревога сказывалась во всем ее несомненно аристократическом существе. В самой ее наружности не замечалось склада, свойственного германской породе: она скорее напоминала уроженцев юга. Чрезвычайно густые черные волосы без всякого блеска, впалые, тоже черные и тусклые, но прекрасные глаза, низкий выпуклый лоб, орлиный нос, зеленоватая бледность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонких губ и в слегка углубленных щеках, что-то резкое и в то же время беспомощное в движениях, изящество без грации... в Италии все это не показалось бы мне необычайным, но в Москве, у Пречистенского бульвара, просто изумило меня! Я встал со стула при входе ее в комнату: она бросила на меня быстрый неровный взгляд и, опустив свои черные ресницы,

---

[1] Виктору я не могу приказывать, вы это знаете! *(нем.)*

[2] Слова Ромео при первой встрече с Джульеттой (Шекспир, «Ромео и Джульетта», акт I, сцена 5):

Как голубь белый в стае воронья —
Среди подруг красавица моя!..

села близ окна, «как Татьяна» (пушкинский *Онегин* был тогда у каждого из нас в свежей памяти). Я взглянул на Фустова, но мой приятель стоял ко мне спиной и принимал чашку чаю из пухлых рук Элеоноры Карповны. Еще заметил я, что вошедшая девушка внесла с собою струю легкого физического холода... «Что за статуя?» — подумалось мне.

VIII

— Петр Гаврилыч! — загремел г. Ратч, обращаясь ко мне,— позвольте вас познакомить с моей... с моим... с моим нумером первым, ха-ха-ха! с Сусанной Ивановной!

Я молча поклонился и тотчас же подумал: «Вот и имя ее тоже не под стать другим», а Сусанна слегка приподнялась, не улыбаясь и не разжимая крепко стиснутых рук.

— А что же дуэтец? — продолжал Иван Демьяныч.— Александр Давыдыч? а! благодетель! Цитра ваша у нас осталась, а фагот я уже из футляра вынул. Насладим ушеса честной компании! (Г-н Ратч любил уснащать свою русскую речь; у него то и дело вырывались выражения, подобные тем, которыми испещрены все ультранародные стихотворения князя Вяземского: «дока для всего», вместо «на все», «здесь нам не обиход», «глядит в угоду, не на показ», и т. п. Помнится, однажды Иван Демьяныч, увлеченный своею любовью к бойким словам с энергическим окончанием, стал уверять меня, что у него в саду везде известняк, хворостняк и валежняк.) Так как? Идет? — воскликнул Иван Демьяныч, видя, что Фустов не возражает.— Колька, марш в кабинет, тащи сюда пюпитры! Ольга, волоки цитру! Да свечек к пюпитрам соблаговоли, благоверная! (Г-н Ратч вертелся по комнате, как кубарь.) Петр Гаврилыч, вы любите музыку, ась? А коли не любите, беседой займитесь, только, чур, под сурдинкой! Ха-ха-ха! И где этот шут Виктор пропадает? Послушал бы тоже! Вы его, Элеонора Карповна, совсем разбаловали!

Элеонора Карповна вся вспыхнула.

— Aber was kann ich denn[1], Иван Демьяныч....

[1] А что я могу поделать? *(нем.)*

— Ну, хорошо, хорошо, не клянчи! Bleibe ruhig, hast verstanden?[1] Александр Давыдыч! милости просим!

Дети немедленно исполнили приказание родителя, пюпитры воздвиглись, началась музыка. Я уже сказал, что Фустов отлично играл на цитре, но на меня этот инструмент постоянно производил впечатление самое тягостное. Мне всегда чудилось и чудится доселе, что в цитре заключена душа дряхлого жида-ростовщика и что она гнусливо ноет и плачется на безжалостного виртуоза, заставляющего ее издавать звуки. Игра г. Ратча также не могла доставить мне удовольствие; к тому ж его внезапно побагровевшее лицо со злобно вращавшимися белыми глазами приняло зловещее выражение: точно он собирался убить кого-то своим фаготом и заранее ругался и грозил, выпуская одну за другою удавленно хриплые, грубые ноты. Я присоединился к Сусанне и, выждав первую минутную паузу, спросил ее, так же ли она любит музыку, как ее батюшка?

Она отклонилась, как будто я толкнул ее, и промолвила отрывисто:

— Кто?

— Ваш батюшка,— повторил я,— господин Ратч.

— Господин Ратч мне не отец.

— Не отец? Извините меня... Я, должно быть, не так понял... Но мне помнится, Александр Давыдыч...

Сусанна посмотрела на меня пристально и пугливо.

— Вы не поняли господина Фустова. Господин Ратч мой вотчим.

Я помолчал.

— И вы музыки не любите? — начал я снова.

Сусанна опять глянула на меня. Решительно в ее глазах было что-то одичалое. Она, очевидно, не ожидала и не желала продолжения нашего разговора.

— Я вам этого не сказала,— медленно произнесла она.

— Тру-ту-ту-ту-ту-у-у...— со внезапною яростью пробурчал фагот, выделывая окончательную фиоритуру. Я обернулся, увидал раздутую, как у удава, под оттопыренными ушами красную шею г. Ратча, и очень он мне показался гадок.

— Но этого... инструмента вы, наверно, не любите,— сказал я вполголоса.

[1] Успокойся, поняла? (*нем.*)

— Да... я не люблю,— отвечала она, как бы поняв мой тайный намек.

«Вот как!» — подумал я и словно чему-то обрадовался.

— Сусанна Ивановна,— проговорила вдруг Элеонора Карповна на своем немецко-русском языке,— музыку очень любит и очень сама прекрасно играет на фортепиано, только она не хочет играть на фортепиано, когда ее очень просят играть.

Сусанна ничего не ответила Элеоноре Карповне — она даже не поглядела на нее и только слегка, под опущенными веками, повела глазами в ее сторону. По одному этому движению,— по движению ее зрачков,— я мог понять, какого рода чувства Сусанна питала ко второй супруге своего вотчима... И я опять чему-то порадовался.

Между тем дуэт кончился. Фустов встал и, нерешительными шагами приблизившись к окну, возле которого мы сидели с Сусанной, спросил ее, получила ли она от Ленгольда ноты, которые тот обещался выписать из Петербурга.

— Попурри из «Роберта-Дьявола»[1], — прибавил он, обращаясь ко мне,— из той новой оперы, о которой теперь все так кричат.

— Нет, не получила,— отвечала Сусанна и, повернувшись лицом к окну, поспешно прошептала:— Пожалуйста, Александр Давыдыч, прошу вас, не заставляйте меня играть сегодня! я совсем не расположена.

— Что такое? «Роберт-Дьявол» Мейербера! — возопил подошедший к нам Иван Демьяныч,— пари держу, что вещь отличная! Он жид, а все жиды, так же как и чехи, урожденные музыканты! Особенно жиды! Не правда ли, Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!

В последних словах г. Ратча, и на этот раз в самом его хохоте, слышалось нечто другое, чем обычное его глумление — слышалось желание оскорбить. Так по крайней мере мне показалось и так поняла его Сусанна. Она невольно дрогнула, покраснела, закусила нижнюю губу. Светлая точка, подобная блеску слезы, мелькнула у ней на реснице, и, быстро поднявшись, она вышла вон из комнаты.

---

[1] «Роберт-Дьявол» — опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791—1864); поставлена в 1831 г.

— Куда же вы, Сусанна Ивановна? — закричал ей вслед г. Ратч.

— А вы оставьте ее, Иван Демьяныч,— вмешалась Элеонора Карповна.— Wenn sie einmal so etwas im Kopf hat...[1]

— Натура нервозная,— промолвил Ратч, повернувшись на каблуках, и шлепнул себя по ляжке,— plexus solaris[2] страдает. О! да вы не смотрите так на меня, Петр Гаврилыч! Я и анатомией занимался, ха-ха! Я и лечить могу! Спросите вот Элеонору Карповну... Все ее недуги я излечиваю! Такой у меня есть способ.

— А вы все должны шутки шутить, Иван Демьяныч,— отвечала та с неудовольствием, между тем как Фустов, посмеиваясь и приятно покачиваясь, глядел на обоих супругов.

— И почему же не шутить, mein Mütterchen?[3] — подхватил Иван Демьяныч.— Жизнь нам дана для пользы, а больше для красы, как сказал один известный стихотворец. Колька, утри свой нос, дикобраз!

IX

— Я сегодня по твоей милости был в весьма неловком положении,— говорил я в тот же вечер Фустову, возвращаясь с ним домой.— Ты мне сказал, что эта:.. как бишь ее? Сусанна — дочь господина Ратча, а она его падчерица.

— В самом деле! Я тебе сказал, что она его дочь? Впрочем... не все ли равно?

— Этот Ратч,— продолжал я...— Ах, Александр! как он мне не нравится! Заметил ты, с какой он особенной насмешкой отозвался сегодня при ней о жидах? Разве она... еврейка?

Фустов шел впереди, размахивая руками, было холодно, снег хрустел, как соль, под ногами.

— Да, помнится, что-то такое я слышал,— промолвил он, наконец...— Ее мать была, кажется, еврейского происхождения.

[1] Когда ей взбредет что-нибудь в голову... *(нем.)*

[2] Солнечное сплетение *(лат.)*.

[3] Мамочка? *(нем.)*

— Стало быть, господин Ратч женился в первый раз на вдове?

— Вероятно.

— Гм!.. А этот Виктор, что не пришел вчера, тоже его пасынок?

— Нет... это настоящий его сын. Впрочем, я, ты знаешь, в чужие дела не вмешиваюсь и не люблю расспрашивать. Я не любопытен.

Я прикусил язык. Фустов все спешил вперед. Подходя к дому, я нагнал его и заглянул ему в лицо.

— А что? — спросил я,— Сусанна, точно, хорошая музыкантша?

Фустов нахмурился.

— Она хорошо играет на фортепиано,— проговорил он сквозь зубы.— Только она очень дика, предваряю! — прибавил он с легкою ужимкой. Он словно раскаивался в том, что познакомил меня с нею.

Я умолк, и мы расстались.

X

На следующее утро я опять отправился к Фустову. Сидеть у него по утрам стало для меня потребностью. Он принял меня ласково по обыкновению, но о вчерашнем посещении — ни слова! Как воды в рот набрал. Я принялся перелистывать последний номер «Телескопа»[1].

Новое лицо вошло в комнату. Оно оказалось тем самым сыном г. Ратча, Виктором, на отсутствие которого накануне пенял его отец.

Это был молодой человек, лет восемнадцати, уже испитой и нездоровый, с сладковато-наглою усмешкой на нечистом лице, с выражением усталости в воспаленных глазках. Он походил на отца, только черты его были меньше и не лишены приятности. Но в самой этой приятности было что-то нехорошее. Одет он был очень неряшливо, на мундирном сюртуке его недоставало пуговицы, один сапог лопнул, табаком так и разило от него.

— Здравствуйте,— проговорил он сиплым голосом и с теми особенными подергиваньями плеч и головы, кото-

[1] «Телескоп» — прогрессивный журнал, издававшийся с 1831 по 1836 г.

рые я всегда замечал у избаловавшихся и самоуверенных молодых людей.— Думал в университет, а попал к вам. Грудь что-то заложило. Дайте-ка сигарку.— Он прошел через всю комнату, вяло волоча ноги и не вынимая рук из карманов панталон, и грузно бросился на диван.

— Вы простудились? — спросил Фустов и познакомил нас друг с другом. Мы были оба студентами, но находились на разных факультетах.

— Нет!.. Какое! Вчера, признаться сказать... (тут господин Ратч junior[1] улыбнулся во весь рот, опять-таки не без приятности, но зубы у него оказались дурные) выпито было, сильно выпито. Да.— Он закурил сигарку и откашлянулся.— Обиходова провожали.

— А он куда едет?

— На Кавказ, и возлюбленную свою туда же тащит. Вы знаете, ту, черноглазую, с веснушками. Дурак!

— Ваш батюшка вчера о вас спрашивал,— заметил Фустов.

Виктор сплюнул в сторону.

— Да, я слышал. Вы вчера забрели в наш табор. Ну и что ж? музицировали?

— По обыкновению.

— А *она*... Небось перед новым-то гостем (тут он ткнул головой в мою сторону) поломалась? Играть не стала?

— Вы это о ком говорите? — спросил Фустов.

— Да, разумеется, о почтеннейшей Сусанне Ивановне!

Виктор развалился еще покойнее, округленно поднял руку над головой, посмотрел себе на ладонь и глухо фыркнул.

Я взглянул на Фустова. Он только плечом пожал, как бы желая дать мне понять, что с такого оболтуса и спрашивать нечего.

XI

Виктор принялся говорить, глядя в потолок, не спеша и в нос, о театре, о двух ему знакомых актерах, о какой-то Серафиме Серафимовне, которая его «надула», о новом профессоре Р., которого обозвал скотиной,— потому,

[1] Младший (*лат.*).

представьте, что урод выдумал? Каждую лекцию с переклички начинает, а еще либералом считается! В кутузку я бы всех ваших либералов запрятал! — и, обратившись, наконец, всем лицом и телом к Фустову, промолвил полужалобным, полунасмешливым голосом:

— Что я вас хотел попросить, Александр Давыдыч... Нельзя ли как-нибудь старца моего вразумить... Вы вот дуэты с ним разыгрываете... Дает мне пять синеньких[1] в месяц... Это что же такое?! На табак не хватает. Еще толкует: не делай долгов! Я бы его на мое место посадил и посмотрел бы! Я ведь никаких пенсий не получаю; не то что *иные* (Виктор произнес это последнее слово с особенным ударением). А деньжищев у него много, я знаю. Со мной Лазаря петь нечего, меня не проведешь. Шалишь! Руки-то себе нагрел тоже... ловко!

Фустов искоса глянул на Виктора.

— Пожалуй,— начал он,— я скажу вашему батюшке. А то, если хотите, я могу... пока... небольшую сумму...

— Нет, что ж? Уж лучше старика умаслить... Впрочем,— прибавил Виктор, почесав себе нос всею пятерней,— дайте, коли можете, рублей двадцать пять... Сколько бишь я вам должен?

— Вы у меня восемьдесят пять рублей заняли.

— Да... Ну это, стало, выйдет... всего сто десять рублей. Я вам отдам все разом.

Фустов вышел в другую комнату, вынес двадцатипятирублевую бумажку и молча подал ее Виктору. Тот взял ее, зевнул во все горло, не закрывая рта, промычал: «Спасибо!» — и, поеживаясь и потягиваясь, приподнялся с дивана.

— Фу! однако... что-то скучно,— пробормотал он,— пойти разве в «Италию».

Он направился к двери.

Фустов посмотрел ему вслед. Казалось, он боролся сам с собой.

— О какой вы это пенсии сейчас упомянули, Виктор Иваныч? — спросил он, наконец.

Виктор остановился на пороге и надел фуражку.

— А вы не знаете? Сусанны Ивановны пенсии... Она ее получает. Прелюбопытный, доложу вам, анекдот! Я когда-нибудь вам расскажу. Дела, батюшка, дела! А вы

[1] Синенькая — ассигнация достоинством в пять рублей.

старца-то, старца не забудьте, пожалуйста. Кожа у него, конечно, толстая, немецкая, да еще с русской выделкой, а все пронять можно. Только чтоб Элеонорки, мачехи моей, при этом не было! Папашка ее боится, она все своим прочит. Ну, да вы сами дипломат! Прощайте!

— Экая, однако, дрянь этот мальчишка! — воскликнул Фустов, как только захлопнулась дверь.

Лицо у него горело, как в огне, и он от меня отворачивался. Я не стал его расспрашивать и вскоре удалился.

XII

Весь тот день я провел в размышлениях о Фустове, о Сусанне, об ее родственниках; мне смутно чудилось нечто похожее на семейную драму. Сколько я мог судить, мой приятель был неравнодушен к Сусанне. Но она? Любила ли она его? Отчего она казалась такою несчастною? И вообще что она была за существо? Эти вопросы беспрестанно приходили мне на ум. Темное, но сильное чувство говорило мне, что за разрешением их не следовало обращаться к Фустову. Кончилось тем, что я на следующий день отправился один в дом к г. Ратчу.

Мне стало вдруг очень совестно и неловко, как только я очутился в маленькой темной передней. «Она и не покажется, пожалуй,— мелькнуло у меня в голове,— придется сидеть с гнусным ветераном и с его кухаркой-женой... Да и наконец, если даже она появится, что же из этого? Она и разговаривать не станет... Уж больно неласково обошлась она со мной намедни. Зачем же я пришел?» Пока я все это соображал, казачок побежал доложить обо мне, и в соседней комнате, после двух или трех недоумевающих: «Кто такое? Кто, ты говоришь?» — послышалось тяжелое шарканье туфель, дверь слегка растворилась, и в щели между обеими половинками выставилось лицо Ивана Демьяныча, лицо взъерошенное и угрюмое. Оно уставилось на меня и не тотчас изменило свое выражение... Видно, г. Ратч не сразу узнал меня, но вдруг щеки его округлились, глаза сузились и из раскрывшегося рта, вместе с хохотом, вырвалось восклицание:

— А, батюшка, почтеннейший! Это вы? Милости просим!

Я последовал за ним тем неохотнее, что, мне казалось, этот приветливый, веселый г. Ратч внутренно посылает меня к черту. Однако делать было нечего. Он привел меня в гостиную, и что же! в гостиной сидела Сусанна перед столом за приходо-расходной книгой. Она глянула на меня своими сумрачными глазами и чуть-чуть прикусила ногти пальцев на левой руке... такая у ней была привычка, я заметил, привычка, свойственная нервическим людям. Кроме ее, в комнате никого не было.

— Вот, сударь,— начал г. Ратч и ударил себя по ляжке,— в каких занятиях вы нас с Сусанной Ивановной застали: счетами занимаемся. Супруга моя в «арихметике» не сильна, а я, признаться, глаза свои берегу. Без очков не могу читать, что прикажете делать? Пускай же молодежь потрудится, ха-ха! Порядок требует. Впрочем, дело не к спеху... Спешить, смешить, блох ловить, ха-ха!

Сусанна закрыла книгу и хотела удалиться.

— Постой, однако, постой,— заговорил г. Ратч.— Что за беда, что не в туалете... (На Сусанне было очень старенькое, почти детское платьице с короткими рукавчиками.) Дорогой гость не взыщет, а мне бы только позапрошлую неделю очистить... Вы позволите? — обратился он ко мне.— Мы ведь с вами не на церемониалах!

— Сделайте одолжение, не стесняйтесь! — воскликнул я.

— То-то, мой батюшка почтеннейший; вам самим известно: покойный государь Алексей Михайлович Романов говаривал: «Делу время, а потехе минуту!» А мы самому делу одну минуту посвятим... ха-ха! Какие же это тринадцать рублей тридцать копеек?— прибавил он вполголоса, повернувшись ко мне спиной.

— Виктор взял у Элеоноры Карповны; он сказал, что вы ему разрешили,— отвечала также вполголоса Сусанна.

— Сказал... сказал... разрешил...— проворчал Иван Демьяныч.— Кажется, я тут сам налицо. Спросить бы могли. А те семнадцать рублей кому пошли?

— Мебельщику.

— Да... мебельщику. Это за что же?

— По счету.

— По счету. Покажь-ка! — Он вырвал у Сусанны книгу и, насадив на нос круглые очки в серебряной оправе, стал водить пальцем по строкам.— Мебельщику... мебельщику... Вам бы лишь бы деньги из дому вон! Вы

рады!.. Wie die Croaten![1] По счету! А впрочем,— прибавил ои громко и сиова поворотился ко мне лицом н очки с иосу сдернул,— что же это я в самом деле! Этнмн дрязгами можно н после заияться. Сусаииа Ивановна, извольте-ка оттащить иа место эту бухгалтерию, да пожалуйте к нам обратио и восхитите слух сего любезного посетителя вашнм муснкийским оруднем[2], сиречь фортепиаиною игрой... А?

Сусанна отвернула голову.

— Я бы очень был счастлнв,— поспешио промолвил я,— очеиь было бы мие прнятно послушать игру Сусаины Ивановиы. Но я ин за что в свете ие желал бы беспоконть...

— Какое беспокойство, что вы! Ну-с, Сусанна Ивановна, eins, zwei, drei![3]

Сусаина ннчего ие отвечала и вышла вон.

XIII

Я ие ожидал, что оиа верится; ио оиа скоро появилась снова: даже платья ие перемеиила и, присев в угол, раза два вннмательио посмотрела на меня. Почувствовала ли оиа в моем обращении с нею то иевольное, мне самому неизъяснимое уваженне, которое, больше чем любопытство, больше даже, чем участне, оиа во мне возбуждала, находилась ли она в тот деиь в смягчеииом расположеннн духа, только она вдруг подошла к фортепиано и, нерешительио положив руку иа клавишн и склоннв немиого голову через плечо назад ко мне, спросила меня, что я хочу, чтоб она сыграла? Я ие успел еще ответнть, как оиа уже села, достала иоты, тороплнво их развернула и начала играть. Я с детства любил музыку, но в то время я еще плохо поннмал ее, мало был знаком с произведениямн великих мастеров, и еслн бы г. Ратч не проворчал с некоторым неудовольствнем: «Aha! wieder dieser Beethoven!»[4], я бы не догадался, что нмеиио выбрала Сусанна. Это была, как я потом узиал, зиа-

---

[1] Как кроаты! *(нем.)* — хорваты.

[2] Мусикийским орудием — то есть орудием искусства.

[3] Раз, два, три! *(нем.)*

[4] Ах! опять этот Бетховен! *(нем.)*

менитая Ф-мольная соната[1], opus 57. Игра Сусанны меня поразила несказанно: я не ожидал такой силы, такого огня, такого смелого размаха. С самых первых тактов стремительно-страстного allegro, нача́ла сонаты, я почувствовал то оцепенение, тот холод и сладкий ужас восторга, которые мгновенно охватывают душу, когда в нее неожиданным налетом вторгается красота. Я не пошевельнулся ни одним членом до самого конца; я все хотел и не смел вздохнуть. Мне пришлось сидеть сзади Сусанны, ее лица я не мог видеть; я видел только, как ее темные длинные волосы изредка прыгали и бились по плечам, как порывисто покачивался ее стан и как ее тонкие руки и обнаженные локти двигались быстро и несколько угловато. Последние отзвучия замерли. Я вздохнул, наконец. Сусанна продолжала сидеть перед фортепиано.

— Ja, ja,— заметил г. Ратч, который, впрочем, тоже слушал внимательно,— romantische Musik![2] Это нынче в моде. Только зачем нечисто играть! Э? Пальчиком по двум нотам разом — зачем? Э? То-то; нам все поскорей хочется, поскорей. Этак горячей выходит. Э? Блины горячие! — задребезжал он, как разносчик.

Сусанна слегка обратилась к г. Ратчу; я увидел лицо ее в профиль. Тонкая бровь высоко поднялась над опущенной векой, неровный румянец разлился по щеке, маленькое ухо рдело под закинутым локоном.

— Я всех лучших виртуозов самолично слышал,— продолжал г. Ратч, внезапно нахмурившись,— и все они перед покойным Фильдом[3] — тьфу! Нуль! зеро!! Das war ein Kerl! Und ein so reines Spiel![4] И композиции его — самые прекрасные! А все эти новые «тлу-ту-ту» да «тра-та-та», это, я полагаю, больше для школяров писано. Da braucht man keine Delicatesse![5] Хлопай по клавишам как попало... Не беда! Что-нибудь выйдет! Janitscharen Musik![6] Пхе! (Иван Демьяныч утер себе лоб

---

[1] Ф-мольная соната — соната «Аппассионата».

[2] Да, да, романтическая музыка! *(нем.)*

[3] Фильд Джон (1782—1837) — пианист, композитор, представитель салонно-виртуозного направления в музыке.

[4] Вот это был молодчина! И такая чистая игра! *(нем.)*

[5] Тут не нужно особых тонкостей! *(нем.)*

[6] Янычарская музыка! *(нем.)*

платком.) Впрочем, я это говорю не на ваш счет, Сусанна Ивановна; вы играли хорошо и моими замечаниями не должны обижаться.

— У всякого свой вкус,— тихим голосом заговорила Сусанна, и губы ее задрожали,— а ваши замечанья, Иван Демьяныч, вы знаете, меня обидеть не могут.

— О, конечно! Только вы не полагайте,— обратился ко мне Ратч,— не извольте полагать, милостивый государь, что сие происходит от излишней нашей доброты и якобы кротости душевной; а просто мы с Сусанной Ивановной воображаем себя столь высоко вознесенными, что у-у! Шапка назад валится, как говорится по-русски, и уже никакая критика до нас досягать не может. Самолюбие, милостивый государь, самолюбие! Оно нас доехало, да, да!

Не без изумления слушал я Ратча. Желчь, желчь ядовитая так и закипала в каждом его слове... И давно же она накопилась! Она душила его. Он попытался закончить свою тираду обычным смехом,— и судорожно, хрипло закашлял. Сусанна словечка не проронила в ответ ему, только головой встряхнула, и лицо приподняла да, взявшись обеими руками за локти, прямо уставилась на него. В глубине ее неподвижных расширенных глаз глухим, незагасимым огнем тлела стародавняя ненависть. Жутко мне стало.

— Вы принадлежите к двум различным музыкальным поколеньям, — начал я с насильственною развязностью, самою этою развязностью желая дать понять, что я ничего не замечаю,— а потому не удивительно, что вы не сходитесь в своих мнениях... Но, Иван Демьяныч, вы мне позволите стать на сторону... более молодого поколения. Я профан, конечно; но признаюсь вам, ничего в музыке еще не произвело на меня такого впечатления, как та... как то, что Сусанна Ивановна нам сейчас сыграла.

Ратч вдруг накинулся на меня.

— И почему вы полагаете,— закричал он, весь еще багровый от кашля,— что мы желаем завербовать вас в наш лагерь? (Он выговорил Lager по-немецки.) Нисколько нам это не нужно, бардзо дзенкуем![1] Вольному воля, спасенному — спасение! А что касательно двух поколений, то это точно: нам, старикам, с вами, молодыми, жить

[1] Премного благодарны! *(польск.)*

трудно, очень трудно! Наши понятия ни в чем не согласны: ни в художестве, ни в жизни, ни даже в морали. Не правда ли, Сусанна Ивановна?

Сусанна усмехнулась презрительною усмешкой.

— Особенно насчет, как вы говорите, морали наши понятия не сходятся и не могут сходиться,— ответила она, и что-то грозное пробежало у ней над бровями, а губы попрежнему слабо трепетали.

— Конечно, конечно! — подхватил Ратч.— Я не филозоф! Я не умею стать... этак, высоко! Я человек простой, раб предрассудков, да!

Сусанна опять усмехнулась:

— Мне кажется, Иван Демьяныч, и вы иногда умели ставить себя выше того, что называют предрассудками.

— Wie so? То есть как же это? Я вас не понимаю.

— Не понимаете? Вы так забывчивы!

Г-н Ратч словно потерялся.

— Я... я...— повторял он.— Я...

— Да, вы, господин Ратч.

Последовало небольшое молчание.

— Однако позвольте, позвольте, — начал было г. Ратч, — как вы можете так дерзко...

Сусанна внезапно вытянулась во весь рост и, не выпуская из рук локтей своих, стискивая их, перебирая по ним пальцами, остановилась перед Ратчем. Казалось, она вызывала его на борьбу, она наступала на него. Лицо ее преобразилось: оно стало вдруг, в мгновение ока, и необычайно красиво и страшно; каким-то веселым и холодным блеском — блеском стали — заблестели ее тусклые глаза; недавно еще трепетавшие губы сжались в одну прямую, неумолимо-строгую черту. Сусанна вызывала Ратча, но тот, как говорится, воззрился в нее и вдруг умолк и опустился, как мешок, и голову втянул в плечи, и даже ноги подобрал. Ветеран двенадцатого года струхнул; в этом нельзя было сомневаться.

Сусанна медленно перевела глаза свои с него на меня, как бы призывая меня в свидетели своей победы и унижения врага, и, в последний раз усмехнувшись, вышла вон из комнаты.

Ветеран остался несколько времени неподвижен на своем кресле; наконец, точно вспомнив забытую роль, он встрепенулся, встал и, ударив меня по плечу, захохотал своим зычным хохотом:

— Вот, подите вы, ха-ха-ха! кажется, не первый десяток живем мы с этою барышней, а никогда она не может понять, когда я шутку шучу и когда говорю в суриозе! Да и вы, почтеннейший, кажется, недоумеваете... Ха-ха-ха! Значит, вы еще старика Ратча не знаете!

«Нет... Я теперь тебя знаю»,— думал я не без некоторого страха и омерзения.

— Не знаете старика, не знаете! — твердил он, провожая меня до передней и поглаживая себя по животу.— Я человек тяжелый, битый, ха-ха! Но я добрый, ей-богу!

Я опрометью бросился с крыльца на улицу. Мне хотелось поскорее уйти от этого доброго человека.

XIV

«Что они друг друга ненавидят, это ясно,— думал я, возвращаясь к себе домой,— несомненно также и то, что он человек скверный, а она хорошая девушка. Но что такое произошло между ними? Какая причина этого постоянного раздражения? Какой смысл этих намеков? И как это неожиданно вспыхнуло! Под каким пустым предлогом!»

На следующий день мы с Фустовым собрались идти в театр смотреть Щепкина в «Горе от ума». Комедию Грибоедова только что разрешили тогда, предварительно обезобразив ее цензурными урезками[1]. Мы много хлопали Фамусову, Скалозубу. Не помню, какой актер исполнял роль Чацкого, но очень хорошо помню, что он был невыразимо дурен; сперва появился в венгерке и в сапогах с кисточками, а потом во фраке модного в то время цвета «flamme de punch»[2], и фрак этот на нем сидел, как на нашем старом дворецком. Помню также, что бал в третьем акте привел нас в восхищение. Хотя, вероятно, никто и никогда в действительности не выделывал таких па, но это уже было так принято — да, кажется, исполняется таким образом и до сих пор. Один из гостей чрезвычайно высоко прыгал, причем парик его развевался

[1] Комедия Грибоедова была впервые поставлена в ноябре 1831 г.

[2] Пуншевого пламени *(франц.)*.

во все стороны, и публика заливалась смехом. Выходя из театра, мы в коридоре столкнулись с Виктором.

— Вы были в театре! — воскликнул он, взмахнув руками.— Как же это я вас не видал? Я очень рад, что встретил вас. Вы непременно должны со мной поужинать. Пойдемте; я угощаю!

Молодой Ратч казался в состоянии взволнованном, почти восторженном. Глазенки его бегали, он ухмылялся, красные пятна выступали на лице.

— На какой это радости? — спросил Фустов.

— На какой? А вот не угодно ли полюбопытствовать?

Виктор отвел нас немного в сторону и, вытащив из кармана панталон целую пачку тогдашних красных и синих ассигнаций, потряс ими в воздухе.

Фустов удивился.

— Ваш батюшка расщедрился?

Виктор захохотал.

— Нашли щедрого! Как же, держи карман!.. Сегодня утром, понадеявшись на ваше ходатайство, я попросил у него денег. Что же, вы думаете, мне ответил жидомор? «Я, говорит, твои долги, изволь, заплачу. До двадцати пяти рублей включительно!» Слышите: включительно! Нет, милостивый государь, это на мое сиротство бог послал. Случай такой вышел.

— Ограбил кого-нибудь? — небрежно промолвил Фустов.

Виктор нахмурился.

— Ух, так вот и ограбил! Выиграл-с, выиграл у офицера, у гвардейца! Вчера только из Петербурга прикатил. И какое стечение обстоятельств! Сто́ит рассказать... да тут неловко. Пойдемте к Яру: два шага всего. Сказано, я угощаю!

Нам, быть может, следовало отказаться, но мы пошли без возражений.

XV

У Яра нас провели в особую комнату, подали ужин, принесли шампанского. Виктор рассказал нам со всеми подробностями, как он в одном приятном доме встретил этого офицера-гвардейца, очень милого малого и хорошей фамилии, только без царя в голове; как они позна-

комились, как он, офицер то есть, вздумал шутки ради предложить ему, Виктору, играть в дурачки старыми картами, почти что на орехи и с тем условием, чтоб офицеру играть на счастие Вильгельмины, а Виктору на свое собственное счастие; как потом пошло дело на пари.

— А у меня-то, у меня-то,— воскликнул Виктор, и вскочил, и в ладоши захлопал,— всего шесть рублей в кармане. Представьте! И сначала я совсем профершпилился... Каково положение?! Только тут, уж я не знаю чьими молитвами, фортуна улыбнулась. Тот горячиться стал, все карты показывает... Глядь! семьсот пятьдесят рублей и пробухал! Стал еще просить поиграть, ну, да я малый не промах, думаю: нет, этакою благодатью злоупотреблять не надо; шапку сгреб и марш! Вот теперь и старику незачем кланяться и товарищей угостить можно... Эй! человек! Еще бутылку! Господа, чокнемтесь!

Мы чокнулись с Виктором и продолжали пить и смеяться, хотя рассказ его нам вовсе не понравился, да и самое его общество нам удовольствия доставляло мало. Он принялся любезничать, балагурить, расходился, одним словом, и сделался еще противнее. Виктор заметил, наконец, какое он производил на нас впечатление, и насупился; речи его стали отрывистей, взгляды мрачнее. Он начал зевать, объявил, что спать хочет, и, обругав со свойственною ему грубостью трактирного слугу за худо прочищенный чубук, внезапно, с выраженьем вызова на искривленном лице, обратился к Фустову:

— Послушайте-ка, Александр Давыдыч, — промолвил он, — скажите, пожалуйста, за что вы меня презираете?

— Как так? — не сразу нашелся ответить мой приятель.

— Да так же... Я очень хорошо чувствую и знаю, что вы меня презираете, и этот господин (он указал на меня пальцем) тоже, туда же! И хоть бы вы сами очень уже высокою нравственностью отличались, а то такой же грешник, как мы все. Еще хуже. В тихом омуте... пословицу знаете?

Фустов покраснел.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он.

— А то, что я еще не ослеп и отлично вижу все, что у меня перед носом делается: шуры-то-муры ваши

с сестрицей моей я вижу... И ничего я против этого не имею, потому: во-первых, не в моих правилах, а во-вторых, моя сестрица, Сусанна Ивановна, сама через все тяжкие прошла... Только меня-то за что же презирать?

— Вы сами не понимаете, что вы такое лепечете! Вы пьяны,— проговорил Фустов, доставая пальто со стены.— Обыграл, наверное, какого-то дурака и врет теперь черт знает что!

Виктор продолжал лежать на диване и только заболтал ногами, перевешенными через ручку.

— Обыграл! Зачем же вы вино пили? Оно ведь на выигрышные деньги куплено. А врать мне нечего. Не я виноват, что Сусанна Ивановна в своей прошедшей жизни...

— Молчите! — закричал на него Фустов.— Молчите... или...

— Или что?

— Вы узнаете, что. Петр, пойдем.

— Ага! — продолжал Виктор,— великодушный рыцарь наш в бегство обращается. Видно, не хочется правду-то узнать! Видно, колется она, правда-то!

— Да пойдем же, Петр,— повторил Фустов, окончательно потерявший обычное свое хладнокровие и самообладание.— Оставим этого дрянного мальчишку!

— Этот мальчишка не боится вас, слышите,— закричал нам вслед Виктор,— презирает вас этот мальчишка, пре-зи-рает! Слышите!

Фустов так проворно шел по улице, что я с трудом поспевал за ним. Вдруг он остановился и круто повернул назад.

— Куда ты? — спросил я.

— Да надо узнать, что этот глупец... Он, пожалуй, спьяна, бог знает что... Только ты не иди за мной... мы завтра увидимся. Прощай!

И, торопливо пожав мою руку, Фустов направился к гостинице Яр.

На другой день мне не удалось увидеть Фустова, а на следующий за тем день я, зайдя к нему на квартиру, узнал, что он выехал к своему дяде в подмосковную. Я полюбопытствовал, не оставил ли он записки на мое имя, но никакой записки не оказалось. Тогда я спросил лакея, не знает ли он, сколько времени Александр Давыдыч останется в деревне. «Недели с две, а то побольше,

так полагать надо»,— отвечал лакей. Я на всякий случай взял точный адрес Фустова и в раздумье побрел домой. Эта неожиданная отлучка из Москвы, зимой, окончательно повергла меня в недоумение. Моя добрая тетушка заметила мне за обедом, что я все ожидаю чего-то и гляжу на пирог с капустой, как будто в первый раз отроду его вижу. «Pierre, vous n'êtes pas amoureux?»[1]— воскликнула она, наконец, предварительно удалив своих компаньонок. Но я успокоил ее: нет, я не был влюблен.

XVI

Прошло три дня. Меня подмывало пойти к Ратчам; мне сдавалось, что в их доме я должен был найти разгадку всего, что меня занимало, что я понять не мог... Но мне пришлось бы опять встретиться с ветераном... Эта мысль меня удерживала. Вот в один ненастный вечер — на дворе злилась и выла февральская вьюга, сухой снег по временам стучал в окна, как брошенный сильною рукою крупный песок,— я сидел в моей комнатке и пытался читать книгу. Мой слуга вошел и не без некоторой таинственности доложил, что какая-то дама желает меня видеть. Я удивился... дамы меня не посещали, особенно в такую позднюю пору; однако велел просить. Дверь отворилась, и быстрыми шагами вошла женщина, вся закутанная в легкий летний плащ и желтую шаль. Порывистым движением сбросила она с себя эту шаль и этот плащ, занесенный снегом, и я увидел перед собой Сусанну. Я до того изумился, что слова не промолвил, а она приблизилась к окну и, прислонившись к стене плечом, осталась неподвижною; только грудь судорожно поднималась и глаза блуждали, и с легким оханьем вырывалось дыхание из помертвелых губ. Я понял, что не простая беда привела ее ко мне; я понял, несмотря на свое легкомыслие и молодость, что в этот миг предо мной завершалась судьба целой жизни — горькая и тяжелая судьба.

— Сусанна Ивановна,— начал я,— каким образом...

Она внезапно схватила мою руку своими застывшими пальцами, но голос изменил ей. Она вздохнула прерыви-

[1] Пьер, вы не влюблены? (*франц.*)

сто и потупилась. Тяжелые космы черных волос упали ей на лицо... Снежная пыль еще не сошла с них.

— Пожалуйста, успокойтесь, сядьте,— заговорил я опять,— вот тут, на диване. Что такое случилось? Сядьте, прошу вас.

— Нет,— промолвила она чуть слышно и опустилась на подоконник.— Мне здесь хорошо... Оставьте... Вы не могли ожидать... но если б вы знали... если б я могла... если б...

Она хотела переломить себя, но с потрясающею силой хлынули из глаз ее слезы — и рыдания, поспешные, жадные рыдания огласили комнату. Сердце во мне перевернулось... Я потерялся. Я видел Сусанну всего два раза; я догадывался, что нелегко ей было жить на свете, но я считал ее за девушку гордую, с твердым характером, и вдруг эти неудержимые, отчаянные слезы... Господи! Да так плачут только перед смертью!

Я стоял сам, как к смерти приговоренный.

— Извините меня,— промолвила она, наконец, несколько раз, почти со злобой, утирая один глаз за другим.— Это сейчас пройдет. Я к вам пришла...— Она еще всхлипывала, но уже без слез.— Я пришла... Вы ведь знаете, Александр Давыдыч уехал?

Одним этим вопросом Сусанна во всем призналась и при этом так на меня взглянула, точно желала сказать: «Ведь ты поймешь, ты пощадишь, не правда ли?» Несчастная! Стало быть, ей уже не оставалось другого исхода!

Я не знал, что ей ответить...

— Он уехал, он уехал... он поверил! — говорила между тем Сусанна.— Он не захотел даже спросить меня; он подумал, что я не скажу ему всей правды; он мог это подумать обо мне! Как будто я когда-нибудь его обманывала!

Она закусила нижнюю губу и, слегка нагнувшись, начала царапать ногтем ледяные узоры, наросшие на стекле. Я поспешно вышел в другую комнату и, услав моего слугу, немедленно вернулся и зажег другую свечку. Я хорошенько не знал, зачем я все это делал... очень уж я был смущен.

Сусанна попрежнему сидела на подоконнике, и я тут только заметил, как легко она была одета: серое платьице с белыми пуговицами и широкий кожаный пояс, вот

и все. Я приблизился к ней, но она не обратила на меня внимания.

— Он поверил... он поверил,— шептала она, тихонько покачиваясь из стороны в сторону.— Он не поколебался, он нанес этот последний... последний удар! — Она вдруг повернулась ко мне.— Вы знаете его адрес?

— Да, Сусанна Ивановна... я узнал от его людей... у него в доме. Он мне сам ничего не сказал о своем намерении, я его два дня не видал, пошел осведомиться, а он уже уехал из Москвы.

— Вы знаете его адрес? — повторила она.— Ну, так напишите ему, что он убил меня. Вы хороший человек, я знаю. С вами он не говорил обо мне, наверное, а со мной он говорил о вас. Напишите... ах, напишите ему, чтоб он поскорее вернулся, если он хочет еще застать меня в живых!.. Да нет! Он меня уже не застанет.

Голос Сусанны утихал с каждым словом, и вся она утихала. Но мне это спокойствие казалось еще страшнее, чем те недавние рыдания.

— Он поверил ему...— сказала она еще раз и оперлась подбородком на сложенные руки.

Внезапный порыв ветра с резким свистом и стуком снега ударил в окно, холодная струя пробежала по комнате... Пламя свечей пошатнулось... Сусанна вздрогнула.

Я снова попросил ее сесть на диван.

— Нет, нет, оставьте,— отвечала она,— мне здесь хорошо. Пожалуйста.— Она прижалась к промерзлому стеклу, точно она нашла себе гнездышко в углублении окна.— Пожалуйста.

— Но вы дрожите, вы озябли,— воскликнул я.— Посмотрите, ваши ботинки промокли.

— Оставьте... пожалуйста...— прошептала она и закрыла глаза.

Страх нашел на меня.

— Сусанна Ивановна! — чуть не вскрикнул я,— придите в себя, прошу вас! Что с вами? К чему такое отчаяние! Вы увидите, все разъяснится, какое-нибудь недоразумение... неожиданный случай... Вы увидите, он скоро возвратится. Я ему дам знать, я сегодня же ему напишу... Но я не повторю ему ваших слов... Как можно!

— Он меня не застанет,— промолвила Сусанна все тем же тихим голосом.— Неужели бы я пришла сюда,

к вам, к незнакомому человеку, если бы не знала, что не останусь жива? Ах, все мое последнее унесено безвозвратно! Вот мне и не хотелось умереть так, в одиночку, в молчанку, не сказав никому: «Я все потеряла... и я умираю... Посмотрите!»

Она снова ушла в свое холодное гнездышко... Не забуду я вовек этой головы, этих неподвижных глаз с их глубоким и погасшим взором, этих темных рассыпанных волос на бледном стекле окна, самого этого серенького тесного платья, под каждой складкой которого еще билась такая молодая, горячая жизнь!

Я невольно всплеснул руками.

— Вам... вам умереть, Сусанна Ивановна! Вам только жить... Вам жить должно!

Она посмотрела на меня... Мои слова ее как будто удивили.

— Ах, вы не знаете,— начала она и тихонько уронила обе руки.— Мне нельзя жить. Слишком, слишком много пришлось терпеть, слишком! Я переносила... я надеялась... но теперь... когда и это рушилось... когда...

Она подняла глаза к потолку и снова задумалась. Трагическая черта, которую я некогда заметил у ней около губ, теперь обозначалась еще яснее, она распространилась по всему лицу. Казалось, чей-то неумолимый перст провел ее безвозвратно, навсегда отметил это погибшее существо.

Она все молчала.

— Сусанна Ивановна,— сказал я, чтобы чем-нибудь нарушить эту страшную тишину,— он вернется, уверяю вас!

Сусанна опять посмотрела на меня.

— Что вы говорите? — промолвила она с видимым усилием.

— Он вернется, Сусанна Ивановна, Александр вернется!

— Он вернется? — повторила она.— Но если бы даже он вернулся, не могу я простить ему это унижение, это недоверие...

Она схватила себя за голову.

— Боже мой! Боже мой! Что я говорю! И зачем я здесь? Что это такое? О чем... о чем я пришла просить... и кого? Ах, я с ума схожу!..

Глаза ее остановились.

— Вы хотели просить меня, чтоб я написал Александру,— поспешил я подсказать ей.

Она встрепенулась.

— Да, напишите... напишите, что хотите... А вот это...— Она торопливо пошарила у себя в кармане и достала небольшую тетрадку.— Это я было для него написала... перед его бегством... Но ведь он поверил... поверил тому!

Я понимал, что речь шла о Викторе, Сусанна не хотела назвать его, не хотела произнести его ненавистное имя.

— Однако позвольте, Сусанна Ивановна,— начал я,— почему же вы полагаете, что Александр Давыдыч имел разговор... с тем человеком?

— Почему? Почему? Но тот сам пришел ко мне и все рассказал, и хвастался... и так же смеялся, как его отец! Вот, вот возьмите,— продолжала она, всовывая мне тетрадку в руку,— прочтите, пошлите ему, сожгите, бросьте, делайте что хотите, как хотите... Но нельзя же умереть так, чтобы никто не знал... А теперь мне пора... Мне идти надо.

Она поднялась с подоконника... Я остановил ее.

— Куда же вы, Сусанна Ивановна, помилуйте! Послушайте, какая вьюга! Вы так легко одеты... И дом ваш отсюда не близко. Позвольте, я хоть за каретой пошлю, за извозчиком...

— Не надо, ничего не надо,— промолвила она, настойчиво отклоняя меня и взявшись за плащ и за шаль.— Не удерживайте меня, ради бога! а то... я ни за что не отвечаю! Я чувствую бездну, темную бездну под ногами... Не подходите! не трогайте меня! — С лихорадочной поспешностью надела она плащ, накинула шаль...— Прощайте... Прощайте... О бедное, бедное мое племя, племя вечных странников, проклятие лежит на тебе! Но ведь меня никто не любил, с какой же стати было ему...— Она вдруг умолкла.— Нет, меня любил один,— заговорила она опять, ломая руки,— но смерть всюду, всюду неизбежная смерть! Теперь моя очередь... Не идите за мной,— пронзительно вскрикнула она.— Не идите! Не идите!

Я остолбенел, а она бросилась вон, и мгновенье спустя я слышал, как грохнула внизу тяжелая дверь на улицу, и оконные рамы снова вздрогнули под напором метели.

Я не скоро опомнился. Я только что начинал жить тогда: не испытал ни страсти, ни скорби и редко бывал свидетелем того, как выражаются в других те сильные чувства... Но искренность этой скорби, этой страсти меня поразила. Если бы не тетрадка в руках моих, я, право, мог бы подумать, что я все это во сне видел,— до того это все было необычайно и пронеслось как мгновенный грозовый ливень. До полуночи читал я эту тетрадку. Она состояла из нескольких листов почтовой бумаги, кругом исписанных крупным, но неправильным почерком, почти без помарок. Ни одна строка не шла прямо, и, казалось, в каждой чувствовался тревожный трепет руки, водившей пером. Вот что стояло в этой тетрадке (я ее сберег до сих пор):

XVII

Моя история

«Мне в нынешнем году минет двадцать восемь лет. Вот мои первые воспоминания: я живу в Тамбовской губернии, у одного богатого помещика, Ивана Матвеича Колтовского, в его деревенском доме, в небольшой комнате второго этажа. Со мной вместе живет мать моя, еврейка, дочь умершего живописца, вывезенного из-за границы, болезненная женщина с необыкновенно красивым, как воск бледным лицом и такими грустными глазами, что, бывало, как только она долго посмотрит на меня, я, и не глядя на нее, непременно почувствую этот печальный, печальный взор, и заплáчу, и брошусь ее обнимать. Ко мне ездят наставники; меня учат музыке и зовут меня барышней. Я обедаю за господским столом вместе с матушкой. Г-н Колтовской — высокий, видный старик с величавою осанкой; от него всегда пахнет амброй. Я боюсь его дó смерти, хоть он зовет меня Suzon и дает мне целовать, сквозь кружевную манжетку, свою сухую жилистую руку. С матушкой он изысканно вежлив, но беседует и с нею мало: скажет ей два-три благосклонные слова, на которые она тотчас торопливо ответит,— скажет и умолкнет, и сидит, с важностью озираясь кругом и медленно перебирая щепотку испанского табаку в золотой круглой табатерке с вензелем императрицы Екатерины.

Девятый год моего возраста остался мне навсегда памятным... Я узнала тогда, через горничных в девичьей, что Иван Матвеич Колтовской мне отец, и почти в тот же день мать моя, по его приказанию, вышла замуж за г. Ратча, который состоял у него чем-то вроде управляющего. Я никак не могла понять, как это возможно, я недоумевала, я чуть не заболела, моя голова изнемогала, ум становился в тупик. «Правда ли, правда ли, мама,— спросила я ее,— этот *бука пахучий* (так я звала Ивана Матвеича) мой папа?» Матушка испугалась чрезвычайно, зажала мне рот... «Никогда, никому не говори об этом, слышишь, Сусанна, слышишь — ни слова!..» — твердила она трепетным голосом, крепко прижимая мою голову к своей груди... И я точно никому об этом не говорила... Это приказание моей матери я поняла... Я поняла, что я должна была молчать, что моя мать у меня прощения просила!

Несчастье мое началось тогда же. Г-н Ратч не любил моей матери, и она его не любила. Он женился на ней из-за денег, а она должна была повиноваться. Г-н Колтовской, вероятно, нашел, что таким образом все устроилось к лучшему — «la position était régularisée»[1]. Помню, накануне свадьбы — мать моя и я — мы обе, обнявшись, проплакали почти целое утро — горько, горько и молча. Не диво, что она молчала... Что она могла сказать мне? Но что я ее не расспрашивала — это доказывает только то, что несчастные дети умнеют скорее счастливых... на свою беду.

Г-н Колтовской продолжал заниматься моим воспитанием и даже понемногу приблизил меня к своей особе. Он со мной не разговаривал... но утром и вечером, стряхнув двумя пальцами с своего жабо табачные пылинки, он теми же двумя пальцами, холодными как лед, трепал меня по щеке и давал мне какие-то темные конфетки, тоже с запахом амбры, которых я никогда не ела. Двенадцати лет от роду я стала его лектрисой, «sa petite lectrice». Я читала ему французские сочинения прошлого столетия, мемуары Сен-Симона, Мабли, Реналя, Гельвеция, переписку Вольтера, энциклопедистов, ничего, конечно, не понимая, даже тогда, когда он, осклабясь и зажмурясь, приказывал мне: «relire ce dernier paragraphe, qui

[1] Дело было улажено *(франц.)*.

est bien remarquable!»[1] Иван Матвеич был совершенный француз. Он жил в Париже до революции, помнил Марию Антуанетту, получил приглашение к ней в Трианон; видел и Мирабо, который, по его словам, носил очень большие пуговицы — «exagéré en tout»[2] — и был вообще человек дурного тона — «en dépit de sa naissance!»[3] Впрочем, Иван Матвеич редко рассказывал о том времени; но раза два или три в год произносил, обращаясь к кривому старичку эмигранту, которого держал на хлебах и называл бог знает почему «M. le Commandeur»[4], произносил свои неспешным, носовым голосом экспромпт, некогда сказанный им на вечере у герцогини Полиньяк. Я помню только первые два стиха... (дело шло о параллели между русскими и французами):

L'aigle se plait aux régions austères,
Où le ramier ne saurait habiter...[5]

— Digne de M. de Saint Aulaire![6]— всякий раз восклицал M. le Commandeur.

Иван Матвеич до самой смерти казался моложавым: щеки у него были розовые, зубы белые, брови густые и неподвижные, глаза приятные и выразительные: светлые черные глаза, настоящий агат; он вовсе не был капризен и обходился со всеми, даже со слугами, очень учтиво... Но боже мой! как мне было тяжело с ним, с какою радостью я всякий раз от него уходила, какие нехорошие мысли возмущали меня в его присутствии! Ах, я не была в них виновата!.. Не виновата я в том, что́ из меня сделали...

Г-ну Ратчу, после его свадьбы, был отведен флигель недалеко от господского дома. Я жила там с моею ма-

---

[1] Перечитать этот последний весьма примечательный параграф! *(франц.)*

[2] Преувеличивая во всем *(франц.)*.

[3] Вопреки своему происхождению! *(франц.)*

[4] Господин Командор *(франц.)*.

[5] Орлу нравится в суровых краях, где дикий голубь не мог бы жить... *(франц.)*

[6] Достойно господина Сент Олера! *(франц.)* Сент Олер Франсуа Жозеф (1643—1742) — один из великосветских французских стихотворцев.

терью. Невесело было мне и там. У нее скоро родился сын, тот самый Виктор, которого я вправе считать и называть моим врагом. С самого его рождения здоровье моей матушки, и прежде слабое, уже не поправилось. Г-н Ратч в то время не считал нужным выказывать ту веселость, которой он теперь предается: он имел вид постоянно суровый и старался прослыть за дельца. Со мной он был жесток и груб. Я чувствовала удовольствие, когда уходила от Ивана Матвеича; но и свой флигель я покидала охотно... Несчастная моя молодость! Вечно от одного берега к другому, и ни к которому не хочется пристать! Бывало, бежишь через двор, зимой, по глубокому снегу, в холодном платьице, бежишь в господский дом к Ивану Матвеичу на чтение и словно радуешься... А придешь, увидишь эти большие унылые комнаты, эти пестрые штофные мебели, этого приветливого и бездушного старика в шелковой «дульетке» нараспашку, в белом жабо и белом галстуке, с маншетками на пальцах, с «супсоном» пудры (так выражался его камердинер) на зачесанных назад волосах, захватит тебе дыхание этот душный запах амбры, и сердце так и упадет. Иван Матвеич сидел обыкновенно в просторных вольтеровских креслах; на стене, над его головой, висела картина, изображавшая молодую женщину с ясным и смелым выражением лица, одетую в богатый еврейский костюм и всю покрытую драгоценными камнями, жемчугом.. Я часто заглядывалась на эту картину, но только впоследствии узнала, что это был портрет моей матери, писанный ее отцом по заказу Ивана Матвеича. Изменилась же она с того времени! Умел он сломить и уничтожить ее! «И она его любила! Любила этого старика! — думалось мне...— Как это возможно! Его любить!» А между тем, когда я вспоминала иные взгляды матушки, иные недомолвки и невольные движения... «Да, да, она любила его!» — твердила я с ужасом. Ах, не дай бог никому испытывать такие ощущения!

Каждый день я читала Ивану Матвеичу, иногда три, четыре часа сряду... Мне было вредно так много и так громко читать. Доктор наш боялся за мою грудь и даже однажды доложил об этом Ивану Матвеичу. Но тот только улыбнулся (то есть нет: он никогда не улыбался, а как-то завастривал и выдвигал вперед губы) и сказал ему:

«Vous ne savez pas ce qu'il y a de ressources dans cette jeunesse»[1].— «Одиако в прежние годы M. le Commandeur...»— осмелился было заметить доктор. Иваи Матвеич опять усмехиулся: «Vous rêvez, mon cher,— перебил он его,— le Commandeur n'a plus de dents et il crache à chaque mot. J'aime les voix jeunes»[2].

И я продолжала читать, хоть и много кашляла по утрам и по иочам...

Иногда Иван Матвеич заставлял меня играть иа фортепиано. Но музыка действовала усыпительио иа его нервы. Глаза его тотчас закрывались, голова мерио опускалась, и только изредка слышалось: «C'est du Steibelt, n'est-ce pas? Jouez moi du Steibelt»[3]. Иваи Матвеич считал Штейбельта великим геиием, умевшим победить в себе «la grossière lourdeur des Allemands»[4], и упрекал его в одном: «trop de fougue! trop d'imagination!..»[5] Когда же Иван Матвеич замечал, что я уставала за фортепиаио, он предлагал мне «du cachou de Bologne»[6]. Так шли дии за днями...

И вот в одиу иочь — незабвениую ночь! страшиое несчастие меия поразило. Моя матушка скончалась почти внезапно. Мне только что минуло пятиадцать лет. О, какое это было горе, каким злым вихрем оио налетело на меня! Как запугала меия эта первая встреча со смертию! Бедная моя матушка! Страиные были наши отношения: мы обе страстио любили друг друга... страстно и безнадежно; мы обе словно хранили и скрывали от самих себя общую иам тайиу, упорно молчали о ией, хотя знали, зиали все, что происходило в глубине сердец наших! Даже о прошедшем, о раннем своем прошедшем, матушка со миой не говорила и никогда ие жаловалась словами, хотя все существо ее было одна иемая жалоба! Мы избегали всякого иесколько серьезного разговора.

---

[1] Вы не знаете, каковы возможности в юности *(франц.)*.

[2] Вы бредите, мой дорогой, у Командора нет зубов, и он плюется на каждом слове. Я люблю молодые голоса *(франц.)*.

[3] Это из Штейбельта, не правда ли? Сыграйте мне Штейбельта! *(франц.)* Штейбельт Даниил (1765—1823) — пианист и мало известный композитор.

[4] Грубую тяжеловесность немцев *(франц.)*.

[5] Слишком много пыла! слишком много воображения! *(франц.)*

[6] Болонского бальзама *(франц.)*.

Ах! я все надеялась, что придет час, и она выскажется, наконец, и я выскажусь, и легче станет нам... Но заботы ежедневные, нерешительный и робкий нрав, болезни, присутствие г. Ратча, а главное: этот вечный вопрос «к чему?» и это неуловимое, беспрерывное утекание времени, жизни... Кончилось все громовым ударом, и не только тех слов, которые бы разрешили нашу тайну, даже обычных предсмертных прощаний мне не пришлось услышать от моей матушки! Только и осталось у меня в памяти, что восклицание г. Ратча: «Сусанна Ивановна, извольте идти, мать вас благословить желает!», а потом бледная рука из-под тяжелого одеяла, дыхание мучительное, закатившийся глаз... О, довольно! довольно!

С каким ужасом, с каким негодованием, с каким тоскливым любопытством я на следующий день и в день похорон смотрела на лицо моего отца... да, моего отца! В шкатулке покойницы нашлись его письма. Мне показалось, что он побледнел немного и осунулся... а впрочем, нет! Ничего не шевельнулось в этой каменной душе. Точно так же, как и прежде, позвал он меня спустя неделю в кабинет; точно тем же голосом попросил читать: «Si vous le voulez bien, «Les observations sur L'histoire de France» de Mably, à la page 74... là, ou nous avons été interrompus»[1]. И даже портрета матушки он не велел вынести! Правда, отпуская меня, он подозвал меня к себе и, дав вторично поцеловать свою руку, промолвил: «Suzanne, la mort de votre mère vous a privée de votre appui naturel; mais vous pourrez toujours compter sur ma protection»[2], но тотчас же слегка пихнул меня в плечо другою рукой и, с обычным своим завастриванием губ, прибавил: «Allez, mon enfant»[3]. Я хотела было закричать ему: «Да ведь вы мой отец!», но я ничего не сказала и вышла.

На другое утро, рано, я пошла на кладбище. Май месяц стоял тогда во всей красе цветов и листьев, и долго я сидела на свежей могиле. Я не плакала, не грустила; у меня одно вертелось в голове: «Слышишь, мама? Он

[1] Будьте любезны, «Заметки к истории Франции» Мабли, страница 74... там, где нас прервали *(франц.)*.

[2] Сюзанна, смерть матери лишила вас естественной опоры, но вы всегда можете рассчитывать на мое покровительство *(франц.)*.

[3] Идите, дитя мое *(франц.)*.

хочет и мне оказывать покровительство!» И мне казалось, что мать моя не должна была оскорбиться тою усмешкой, которая невольно просилась мне на губы.

Иногда я спрашиваю себя: что заставляло меня так настойчиво желать, добиваться — не признанья... куда! а хоть теплого родственного слова от Ивана Матвеича? Разве я не знала, что́ он был за человек и как мало он походил на то, чем в моих мечтаниях представлялся мне *отец?*.. Но я была так одинока, так одинока на земле! И потом все та же неотступная мысль не давала мне покоя: «Ведь она его любила? За что-нибудь она полюбила же его?»

Прошло еще три года. Ничего не изменилось в нашей однообразной, заранее размеренной, рассчитанной жизни. Виктор подрастал. Я была старше его восемью годами и охотно занялась бы им, но г. Ратч этому воспротивился. Он приставил к нему няню, которая должна была строго наблюдать, чтобы ребенок не «баловался», то есть не допускать меня до него. Да и сам Виктор меня чуждался. Однажды г. Ратч пришел в мою комнату расстроенный, взволнованный, злобный. Уже накануне дошли до меня дурные слухи о моем вотчиме: люди толковали, будто он был уличен в утайке значительной суммы, во взятке с купца.

— Вы можете помочь мне,— начал он, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. — Подите, попросите за меня Ивана Матвеича.

— Попросить? с какой стати? о чем?

— Походатайствуйте за меня... ведь я вам все-таки не чужой. Меня обвиняют... Ну, словом, я могу без хлеба остаться, да и вы тоже.

— Но как же я к нему пойду? Как я стану его беспокоить?

— Вот еще! Вы имеете *право* его беспокоить!

— Какое же право, Иван Демьяныч?

— Ну, не притворяйтесь... *Вам* он не может отказать по многим причинам. Неужели же вы меня не понимаете?

Он нагло посмотрел мне в глаза, и я почувствовала, что щеки мои так и загорелись. Ненависть, презрение поднялись во мне разом, хлынули волной, затопили меня.

— Да, я понимаю вас, Иван Демьяныч,— ответила я ему, наконец. Мой голос мне самой показался незна-

комым.— И я не пойду к Ивану Матвеичу и не стану просить его. Без хлеба так без хлеба!

Г-н Ратч дрогнул, стиснул зубы, сжал кулаки.

— Ну, погоди же, царевна Меликитриса! — хрипло прошептал он.— Я тебе этого не забуду!

В тот же день Иван Матвеич потребовал его к себе и, говорят, грозил ему тростью, той самой тростью, которой некогда обменялся с дюком де Ларошфуко, кричал: «Вы суть подлец и мздолюбец! Я вас поставлю наружу! (Иван Матвеич почти совсем не умел говорить по-русски и презирал наше «грубое наречие», ce jargon vulgaire et rude[1]. Кто-то при нем сказал однажды: «Это само собою разумеется». Иван Матвеич пришел в негодование и часто потом приводил эту фразу как пример бессмыслицы и нелепости русского языка. «Что такое есть: само собою разумеется? — спрашивал он *по-русски*, напирая на каждый слог.— А почему же не с простотою: разумеется? и зачем: само собою?!»)

Иван Матвеич, однако, не прогнал г. Ратча, даже не лишил его места. Но мой вотчим сдержал слово: он мне *этого* не забыл.

Я начинала замечать перемену в Иване Матвеиче. Он стал грустить, скучал, здоровье его пошатнулось. Его розовое свежее лицо пожелтело и сморщилось, один зуб спереди выпал. Он совсем перестал выезжать и прекратил введенные им приемные дни с угощением для крестьян, без участия духовенства — «sans le concours du clergé». В такие дни Иван Матвеич, с розаном в петличке, выходил к крестьянам в залу или на балкон и, коснувшись губами серебряного стаканчика с водкой, держал им речь вроде следующей: «Вы довольны моими поступками, сколь и я доволен вашим усердствованием; сему радуюсь истинно. Мы все *браты*; само рождение нас производит равными: пью ваше здравие!» Он кланялся им, и крестьяне кланялись ему в пояс, а не в землю, что было строго запрещено. Угощения продолжались попрежнему, но Иван Матвеич уже не показывался своим подданным. Иногда он прерывал мое чтение восклицаниями: «La machine se détraque! Cela se gâte!»[2] Самые глаза его, эти светлые каменные глаза, потускнели и словно

[1] Это грубое наречие черни *(франц.)*.

[2] Машина расстраивается! Дело плохо! *(франц.)*

уменьшились; он засыпал чаще прежнего и тяжело вздыхал во сне. Не изменилось лишь его обращение со мной; только прибавился оттенок рыцарской вежливости. Он хоть и с трудом, но всякий раз вставал с кресла, когда я входила, провожал меня до двери, поддерживая меня рукой под локоть, и вместо Suzon стал звать меня то «ma chère demoiselle»[1], то «mon Antigone»[2]. M. le Commandeur умер года два после кончины матушки: повидимому, его смерть гораздо больше поразила Ивана Матвеича. Ровесник исчез: вот что его смутило. И между тем единственная заслуга г. Командора в последнее время состояла только в том, что он всякий раз восклицал: «Bien joué, mal réussi!»[3], когда Иван Матвеич, играя с г. Ратчем на биллиарде, давал промах или не попадал в лузу; да еще, когда Иван Матвеич обращался к нему за столом с вопросом вроде, например, следующего: «N'est-ce pas, M. le Commandeur, c'est Montesquieu qui a dit cela dans ses «Lettres Persanes?»[4] Тот, иногда уронив ложку супу на свою манишку, глубокомысленно отвечал: «Ah, monsieur de Montesquieu? Un grand écrivain, monsieur, un grand écrivain!»[5] Только однажды, когда Иван Матвеич сказал ему, что les théophilantropes ont eu pourtant du bon![6] — старик взволнованным голосом воскликнул: «Monsieur de Kolontouskoi! (он в двадцать пять лет не выучился выговаривать правильно имя своего патрона) Monsieur de Kolontouskoi! Leur fondateur, l'instigateur de cette secte, ce La Reveillère Lepeaux, était un bonnet rouge!» — «Non, non,— говорил Иван Матвеич, ухмыляясь и переминая щепотку табаку,— des fleurs, des jeunes vierges, le culte de la Nature... ils ont eu du bon, ils

---

[1] Дорогая барышня *(франц.)*.

[2] Моя Антигона *(франц.)*. Антигона — дочь фиванского царя Эдипа, последовавшая добровольно за своим отцом в изгнание. Олицетворение дочерней преданности *(греч. миф.)*.

[3] Сыграно хорошо, а удалось плохо! *(франц.)*

[4] Не правда ли, г. Командор, это сказал Монтескье в своих «Персидских письмах»? *(франц.)*

[5] Ах, господин де Монтескье? Великий писатель, сударь, великий писатель! *(франц.)*

[6] У теофилантропов было все-таки и кое-что хорошее! *(франц.)* Теофилантропы — религиозное общество во Франции в конце XVIII в.

ont du bon!..»[1] Я всегда удивлялась, как много знал Иван Матвеич и как бесполезно было знание для него самого.

Иван Матвеич видимо опускался, но все еще крепился. Однажды, недели за три до смерти, с ним тотчас после обеда сделался сильный припадок головокружения. Он задумался, сказал: «C'est la fin»[2], и, придя в себя и отдохнув, написал письмо в Петербург к своему единственному наследнику, брату, с которым лет двадцать не имел сношений. Прослышав о нездоровье Ивана Матвеича, его посетил один сосед, немец, католик, некогда знаменитый врач, живший на покое в своей деревеньке. Он весьма редко бывал у Ивана Матвеича, но тот всегда принимал его с особенным вниманием и вообще очень уважал его. Чуть ли не его одного во всем свете и уважал он. Старик посоветовал Ивану Матвеичу послать за священником, но Иван Матвеич отвечал, что «ces messieurs et moi, nous n'avons rien à nous dire»[3], и просил переменить разговор; а по отъезде соседа отдал приказ камердинеру впредь уже никого не принимать. Потом он велел позвать меня. Я испугалась, когда увидала его: синие пятна выступили у него под глазами, лицо вытянулось и одеревенело, челюсть повисла. «Vous voilà grande, Suzon,— заговорил он, с трудом выговаривая согласные буквы, но все еще стараясь улыбнуться (мне тогда уже пошел девятнадцатый год),— vous allez peut-être bientôt rester seule. Soyez toujours sage et vertueuse. C'est la dernière recommandation d'un...— он кашлянул,— d'un vieillard qui vous veut du bien. Je vous ai recommandé à mon frère et je ne doute pas qu'il ne respecte mes volontés...— Он опять кашлянул и заботливо пощупал себе грудь:— Du reste, j'espère encore pouvoir faire quelque chose pour vous... dans mon testament»[4].

---

[1] «Господин Колонтуской! Основатель и покровитель этой секты Ла Ревельер Лепо был якобинец!» — «Нет, нет, цветы, юные девы, культ природы... У них было и есть хорошее!» *(франц.)*

[2] Это конец *(франц.)*.

[3] Нам с этими господами нечего сказать друг другу *(франц.)*.

[4] Вы уже взрослая, Сюзон, может быть вы скоро останетесь одна. Будьте всегда благоразумны и добродетельны. Это последнее наставление... старика, который желает вам добра. Я вас поручил моему брату и не сомневаюсь, что он уважит мою волю. Впрочем, надеюсь вспомнить о вас... в моем завещании *(франц.)*.

Эта последняя фраза меня как ножом резанула по сердцу. Ах, это уже было слишком... слишком презрительно и обидно! Иван Матвеич, вероятно, приписал другому чувству — чувству горести или благодарности то, что выразилось у меня на лице; и как бы желая меня утешить, потрепал меня по плечу, в то же время по обыкновению ласково меня отодвигая, и промолвил: «Voyons, mon enfant, du courage! Nous sommes tous mortels. Et puis, il n'y a pas encore de danger. Ce n'est qu'une précaution que j'ai cru devoir prendre... Allez!»[1] Как в тот раз, когда он позвал меня к себе после кончины матушки, я опять хотела закричать ему: «Да ведь я ваша дочь! я дочь ваша!» Но, подумала я, ведь он, пожалуй, в этих словах, в этом сердечном вопле услышит одно желание заявить мои права, права на его наследство, на его деньги... О, ни за что! Не скажу я ничего этому человеку, который ни разу не упомянул при мне имени моей матери, в глазах которого я так мало значу, что он даже не дал себе труда узнать, известно ли мне мое происхождение! А может быть, он это и подозревал и знал, да не хотел «поднимать струшню» (его любимая поговорка, единственная русская фраза, которую он употреблял), не хотел лишить себя хорошей лектрисы с молодым голосом! Нет! нет! Пускай же он останется столь же виноватым пред своею дочерью, как был он виноват пред ее матерью! Пускай унесет в могилу обе эти вины! Клянусь, клянусь: не услышит он из уст моих этого слова, которое должно же звучать чем-то священным и сладостным во всяких ушах! Не скажу я ему: отец! не прощу ему за мать и за себя! Он не нуждается в этом прощении, ни в том названии... Не может быть, не может быть, чтоб он не нуждался в нем! Но не будет ему прощения, не будет, не будет!

Бог знает, сдержала ли бы я свою клятву и не смягчилось ли бы мое сердце, не превозмогла ли бы я своей робости, своего стыда, своей гордости... но с Иваном Матвеичем случилось то же самое, что с моей матушкой. Смерть так же внезапно унесла его и так же ночью. Тот

---

[1] Полно, дитя, мужайтесь! Все мы смертны. И ведь опасности-то еще нет. Это лишь предосторожность с моей стороны... Идите! *(франц.)*.

же г. Ратч разбудил меня и вместе со мной побежал в господский дом, в спальню Ивана Матвеича... Но я не застала даже тех последних предсмертных движений, которые такими неизгладимыми чертами залегли мне в память у постели моей матушки. На обшитых кружевом подушках лежала какая-то сухая темного цвета кукла с острым иосом и взъерошенными седыми бровями... Я закричала от ужаса, от отвращенья, бросилась вон, наткнулась в дверях на бородатых людей в армяках с праздничными красными кушаками, и уже не помню, как очутилась на свежем воздухе...

Рассказывали потом, что когда камердинер вбежал в спальню на сильный звон колокольчика, он нашел Ивана Матвеича не на кровати, а в двух шагах от нее. И будто он сидел на полу, скорчившись, и два раза сряду повторил: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» И будто это были его последние слова. Но я не могу этому верить. С какой стати он заговорил бы по-русски в такую минуту и в таких выражениях!

Целые две недели ждали мы потом приезда нового барина, Семена Матвеича Колтовского. Он прислал приказание ничего не трогать, никого не сменять до личного своего осмотра. Все двери, все мебели, ящики, столы — все заперли, запечатали. Все люди приуныли и насторожились. Я стала вдруг одним из главных лиц в доме, чуть не самым главным лицом. Меня и прежде звали барышней; но теперь это слово приняло какой-то новый смысл, произносилось с особенным ударением. Поднялось шушукание. «Старый, мол, барин скончался внезапно, и священника позвать к нему не успели, он же у исповеди давным-давно не бывал; да ведь завещание написать недолго». Г-н Ратч также почел за нужное изменить свой образ действия. Он не прикинулся добродушным и ласковым: он знал, что не обманет меня, но на лице его изобразилось угрюмое смирение. «Видишь, дескать, я покоряюсь». Все искали во мне; старались мне угождать... а я не знала, что делать и как быть, и только дивилась, как это люди не понимают, что оскорбляют меня. Наконец, приехал Семен Матвеич.

Семен Матвеич был годами десятью моложе Ивана Матвеича и весь свой век шел по совершенно другой дороге. Он состоял на службе в Петербурге, занимал важное место... Он был женат, рано овдовел; один сын был

у него. С лица Семен Матвеич походил на своего старшего брата, только ростом он был ниже и толще, голову имел круглую, лысую, такие же светлые черные глаза, как у Ивана Матвеича, только с поволокой, и большие красные губы. В противность брату, которого он даже после его смерти величал французским философом, а иногда просто чудаком, Семен Матвеич почти постоянно говорил по-русски, громко, речисто, и то и дело хохотал, причем совершенно закрывал глаза и неприятно трясся всем телом, точно злость его колотила. Он принялся за дела очень круто, во все входил сам, от всех требовал отчета подробнейшего. В первый же день своего приезда он пригласил священника со всем причтом, велел отслужить молебен с водосвятием и всюду окропить водою, все комнаты в доме, даже чердаки, даже подвалы, для того, чтобы, как он выразился, «радикально выгнать вольтериянский и якобинский дух». В первую же неделю некоторые любимцы Ивана Матвеича слетели с мест, один даже попал на поселение, другие подверглись телесным наказаниям; самый даже старый камердинер, — он был родом турок, знал французский язык, его подарил Ивану Матвеичу покойный фельдмаршал Каменский,— самый этот камердинер получил, правда, вольную, но вместе с нею и приказание выехать в двадцать четыре часа, «чтобы другим соблазна не было». Семен Матвеич оказался барином строгим; вероятно, многие пожалели о покойнике. «С батюшкой, с Иваном Матвеичем,— сокрушался при мне один уже совсем дряхлый дворецкий,— только и было нам заботы, чтобы белье подавалось чистое, да в комнатах чтобы хорошо пахло, да чтоб людского голоса в передней не было слышно — это уже сохрани бог! А там хоть трава не расти! Мухи в жизнь свою покойничек не обидел! Ну, теперь беда! Помирать надо!» Также скоро изменилось и мое положение, то есть то положение, в которое я попала на несколько дней и против воли... В бумагах Ивана Матвеича не нашлось никакого завещания, ни одной строки, написанной в мою пользу. Все вдруг отхлынули от меня... О г. Ратче я уже не говорю, но и другие все досадовали на меня и старались мне выказать свою досаду: точно я их обманула. В одно воскресенье, после обедни, которую он постоянно прослушивал в алтаре, Семен Матвеич потребовал меня к себе. Я его до того дня видела мельком, и он, казалось, меня не заме-

чал. Он принял меня в своем кабинете, стоя у окна. На нем был вицмундирный фрак с двумя звездами. Я остановилась возле двери; сердце сильно стучало во мне от страха и от другого чувства, еще неопределенного, но уже тяжелого. «Я желал вас видеть, молодая девица,— заговорил Семен Матвеич, взглянув мне сперва на ноги, а потом вдруг в лицо,— этот взгляд точно толкнул меня,— я желал вас видеть для того, чтоб объявить вам мое решение и уверить вас в моем несомнительном расположении быть вам полезным.— Он возвысил голос.— Прав вы никаких, конечно, не имеете, но как... лектриса моего брата, вы всегда можете рассчитывать на мое... на мое внимание. Я... конечно, уверен в вашем благоразумии и в ваших правилах. Господин Ратч, ваш вотчим, уже получил от меня нужные инструкции. К тому же я должен вам сказать, что ваша счастливая наружность служит мне залогом ваших благородных чувств.— Семен Матвеич вдруг залился тонким хохотом, а я... не обиделась я... но жалко мне стало самой себя... и тут-то я вполне почувствовала себя круглою сиротой. Семен Матвеич подошел короткими твердыми шагами к столу, достал из ящика пачку ассигнаций и, всунув мне ее в руку, прибавил: — Здесь небольшая сумма от меня вам на иголки. Я и впредь вас не забуду, моя миленькая, а теперь прощайте и будьте умницей». Я взяла эту пачку машинально, я взяла бы все, что бы он мне ни дал, и, вернувшись к себе в комнату, долго проплакала, сидя на своей постели. Я и не заметила, как пачку уронила на пол. Г-н Ратч нашел ее и поднял и, спросив меня, что я с нею намерена сделать, оставил ее у себя.

В судьбе его произошла тогда значительная перемена. После некоторых разговоров с Семеном Матвеичем он попал к нему в большую милость и скоро получил место главного управляющего. С того времени проявилась в нем веселость, проявилось это вечное хохотание: он сперва хотел подделаться к своему патрону... впоследствии все это вошло в привычку. С того же времени он стал русским патриотом. Семен Матвеич придерживался всего национального, сам называл себя русаком, смеялся над немецкой одеждой, которую, однако, носил; сослал в дальнюю деревню повара, за воспитание которого Иван Матвеич заплатил большие деньги,— сослал его за то, что тот не сумел приготовить рассольника с гусиными

шейками. Из алтаря Семен Матвеич подтягивал дьячкам, а когда девушек сгоняли хоровод водить и песни играть, он и им подтягивал и подтопывал, и щеки им щипал... Впрочем, он скоро уехал в Петербург и оставил моего вотчима чуть ли не полным властелином всего имения.

Горькие дни начались для меня... Единственным моим утешением была музыка, и я предалась ей всею душой. К счастию, г. Ратч был очень занят, но при всяком удобном случае он давал мне чувствовать свою вражду; по обещанию, «не забывал» мне моего отказа. Он помыкал мною, заставлял меня переписывать свои длинные и лживые донесения Семену Матвеичу, поправлять в них орфографические ошибки; я принуждена была беспрекословно ему повиноваться, и я повиновалась. Он объявил, что смирит меня, сделает меня шелковою. «Что это у вас за бунтовщицкие глаза? — кричал он иногда за обедом, напившись пива и стуча по столу ладонью,— вы, может быть, думаете: я, дескать, молчалива, как овечка, стало быть я права... Нет! Вы извольте глядеть на меня тоже, как овечка!» Положение мое становилось возмутительно, невыносимо... сердце мое ожесточалось. Что-то опасное стало все чаще и чаще подниматься в нем; ночи я проводила без сна и без огня, все думала, думала, и в наружном мраке, в темноте внутренней созревало страшное решение. Приезд Семена Матвеича дал другое направление моим мыслям.

Его никто не ожидал: осень давно наступила. Оказалось, что он вышел в отставку по неприятности: он надеялся получить Александровскую ленту[1] — а ему дали табатерку. Недовольный правительством, которое не оценило его талантов, петербургским обществом, которое высказало ему мало сочувствия и не разделяло его негодования, он решился поселиться в деревне, посвятить себя хозяйству. Он приехал один. Сын его, Михаил Семеныч, приехал позже, на праздники, к Новому году. Мой вотчим почти не выходил из кабинета Семена Матвеича: фавор его еще усилился. Меня он оставил в покое; не до меня ему было тогда... Семену Матвеичу вздумалось затеять бумажную фабрику. В мануфактурном деле г. Ратч

[1] Александровская лента — лента ордена Александра Невского, одного из высших орденов России.

не смыслил ничего, и Семен Матвеич знал, что ничего не смыслит; но зато мой вотчим был «исполнитель» (любимое тогдашнее слово), «Аракчеев!»[1] Семен Матвеич именно так и называл его «мой Аракчеев!» «Сего мне достаточно,— уверял Семен Матвеич,— при усердии направление я сам дам». Среди многочисленных хлопот по фабрике, по имению, по заведению канцелярии, канцелярских порядков, новых званий и должностей Семен Матвеич успел, однако, обратить и на меня внимание. Меня позвали однажды вечером в гостиную и заставили играть на фортепиано: Семен Матвеич музыку любил еще меньше, чем покойник, однако одобрил и поблагодарил меня, а на другой день я была приглашена к обеденному столу. После обеда Семен Матвеич довольно долго со мной разговаривал, расспрашивал меня, смеялся иным моим ответам, хотя, помнится, ничего в них не было забавного, и так странно на меня посматривал... Мне неловко становилось. Не любила я его глаз; не любила их откровенного выраженья, их светлого взора... Мне всегда казалось, что самая эта откровенность скрывала что-то нехорошее, что под этим светлым блеском темно там у него на душе. «Вы у меня лектрисой не будете,— объявил мне, наконец, Семен Матвеич, как-то гадливо охорашиваясь и одергиваясь,— я, слава богу, еще не ослеп и читать могу сам, но кофей мне из ваших ручек покажется вкуснее, и вашу игру на фортепиано я буду слушать с удовольствием». После этого дня я уже постоянно ходила обедать в господский дом и оставалась в гостиной иногда до вечера. Попала и я, так же как мой вотчим, в милость; не на радость была мне она. Семен Матвеич, я должна в этом признаться, оказывал мне некоторое уважение; но в этом человеке, я это чувствовала, было что-то такое, что отталкивало, что пугало меня. И это «что-то» высказывалось не словами, а в глазах его, в этих нехороших глазах, да еще в его хохоте. Он никогда не говорил со мною о моем отце, о своем брате, и мне казалось, что он избегал этого разговора не потому, что не желал возбуждать во мне честолюбивых мыслей или притязаний, а по другой причине, в которую я тогда не умела вдуматься, но которая заставляла меня недо-

[1] Аракчеев А. А. (1769—1834) — временщик, военный министр Александра I, известен жестокостью.

умевать и краснеть... К святкам приехал его сын Михаил Семеныч.

Ах, я чувствую, я не могу продолжать так же, как начала; слишком горестны эти воспоминания. Особенно теперь мне невозможно спокойно рассказывать... И к чему скрываться? Я полюбила Мишеля, и он меня полюбил.

Как это случилось, я тоже рассказывать не стану. Знаю, что с самого того вечера, когда он вошел в гостиную (я сидела за фортепиано и играла сонату Вебера), когда он вошел, красивый и стройный, в бархатном тулупчике и валенках, как был, прямо с мороза, и, встряхнув заиндевевшею собольею шапкой, прежде чем поздороваться с отцом, быстро глянул на меня и удивился,— знаю я, что с того вечера я уже не могла забыть его, не могла забыть его молодое доброе лицо. Он заговорил... и голос его так и прильнул к моему сердцу... Мужественный и тихий голос, и в каждом звуке такая честная, честная душа! Семен Матвеич обрадовался приезду сына, обнял его, но тотчас же спросил: «На две недели? а? В отпуск? а?» — и услал меня. Я долго сидела у себя под окном и глядела на огни, забегавшие в комнатах господского дома. Я следила за ними, я прислушивалась к новым незнакомым голосам, меня занимала эта оживленная тревога, и что-то новое, незнакомое, светлое тоже перебегало по моей душе...

На другой же день пред обедом я имела первый разговор с ним. Он зашел к моему вотчиму по поручению Семена Матвеича и застал меня в нашей маленькой гостиной. Я хотела было уйти, он удержал меня. Он был очень жив и развязен во всех движениях и речах; но высокомерия или дерзости, столичного презрительного тона в нем и следа не было, и ничего военного, гвардейского... Напротив, в самой непринужденности его обращения было что-то ласковое, почти стыдливое, точно он вас просил извинить его. У иных людей глаза никогда не смеются, даже в минуту смеха; у *него* губы почти никогда не изменяли своего красивого склада, а глаза улыбались почти постоянно. Так мы пробеседовали с час... о чем, не помню, помню только, что я я все время глядела ему в глаза, и так мне было с ним легко! Вечером я играла на фортепиано. Он очень любил музыку, сел на кресло и, положив курчавую голову на руку, вниматель-

но слушал. Он ни разу не похвалил меня, но я понимала, что игра моя ему нравится, и я играла с увлечением. Семен Матвеич, который сидел возле сына и рассматривал планы, вдруг нахмурился. «Ну, сударыня,— сказал он, по обыкновению охорашиваясь и застегиваясь,— довольно; что это растрещалась, словно канарейка? Этак голова заболеть может. Для нашего брата, старика, небось так стараться не станете...» — прибавил он вполголоса и опять услал меня. Мишель проводил меня до двери глазами и встал с кресел. «Куда? Куда?» — закричал Семен Матвеич, и вдруг засмеялся, и потом сказал еще что-то... Я не могла расслышать его слов; но г. Ратч, который тут же присутствовал в углу гостиной (он всегда «присутствовал», а на этот раз он принес планы), захохотал подобострастно, и его хохот достиг моих ушей... То же, или почти то же, повторилось и в следующий вечер... Семен Матвеич внезапно охладел ко мне, наложил на меня опалу.

Дня четыре спустя я встретила Мишеля в коридоре, разделявшем надвое господский дом. Он взял меня за руку и ввел в комнату, которая находилась возле столовой и называлась портретной. Я последовала за ним не без волнения, но с полным доверием. Я уже тогда, кажется, ушла бы за ним на край света, хотя и не подозревала еще, чем он стал для меня. Ах, я привязалась к нему со всей страстию, со всем отчаянием молодого существа, которому не только некого любить, но которое чувствует себя непрошенным и ненужным гостем среди чуждых ему, среди враждебных людей!..

Мишель сказал мне... И странное дело! Я смело, прямо глядела на него — а он не глядел на меня и слегка покраснел — он сказал мне, что он понимает мое положение и сочувствует ему, и просит извинить отца... «Что же касается до меня,— прибавил он,— то прошу вас быть всегда во мне уверенною, и знайте, что для меня вы сестра, да, сестра». Тут он крепко пожал мне руку. Я смутилась и потупилась в свою очередь; я словно ожидала чего-то другого, другого слова. Однако я начала благодарить его. «Нет, пожалуйста,— перебил он меня,— не говорите так... Но помните: обязанность братьев заступаться за своих сестер — и если вам нужна будет защита против кого бы то ни было,— положитесь на меня. Я недавно здесь, но я уже понял многое... и, между прочим,

я понял вашего вотчима». Он опять стиснул мою руку и удалился.

Я узнала впоследствии, что Мишель с самой первой встречи почувствовал отвращение к г. Ратчу. Г-н Ратч попытался подделаться и к нему; но, убедившись в бесполезности своих усилий, тотчас сам стал к нему в отношения враждебные и не только не скрыл их от Семена Матвеича, но, напротив, старался их выказать, причем выражал сожаление о том, что ему не посчастливилось с молодым наследником. Г-н Ратч хорошо изучил характер Семена Матвеича: расчет его удался. «Преданность этого человека ко мне уже потому не подлежит сомнению, что после меня он погиб; мой наследник его терпеть не может...» — эта мысль утвердилась в голове старика. Говорят, все люди со властью, когда стареют, охотно идут на эту удочку, на удочку исключительной, личной преданности...

Недаром же Семен Матвеич называл г. Ратча своим Аракчеевым... Он мог бы дать ему другое имя. «*Ты* у меня безответный»,— говаривал он ему. Он с самого приезда начал его «тыкать», и вотчим мой умильно глядел Семену Матвеичу в губы, сиротливо склонял голову набок и добродушно смеялся, как бы желая сказать: «Весь тут, весь ваш...» Ах, я чувствую, рука моя дрожит, и сердце так и толкается в край стола, на котором я пишу в эту минуту... Страшно мне вспоминать те дни, и кровь моя загорается... Но я скажу все до конца... до конца.

Обращение г. Ратча со мною приняло новый оттенок во время моего кратковременного фавора. Он начал ко мне прислуживаться, почтительно фамилиарничать со мною, точно я и поумнела-то и ближе к нему стала. «Бросили ломаться,— сказал он мне однажды, возвращаясь из главного дома во флигель.— Хвалю! Все эти добродетели там, чувствительности — хрестоматия, одним словом,— не наше дело, барышня, не дело голышей!» Когда же мой фавор прекратился и Мишель не счел нужным более таить ни презрения к нему, ни участия ко мне, г. Ратч внезапно усугубил свою суровость; он постоянно следил за мною, точно я была способна на все преступления и меня следовало держать в ежовых рукавицах. «Вы смотрите у меня,— кричал он, вваливаясь без спросу, в грязных сапогах и с картузом на голове, в мою комнату.— Я ведь ничего такого не потерплю! Носу у меня

не вздергивать! Меня вам не провести, а спесь я вашу сшибу!» И тут же в одно утро объявил мне, что вышел от Семена Матвеича приказ, чтобы мне вперед без приглашения к обеденному столу не являться... Не знаю, какой бы оборот все это приняло, если бы не случилось происшествие, которое окончательно решило мою судьбу...

Мишель был большой охотник до лошадей. Он вздумал сам объезжать молодого рысака. Тот понес, начал бить и выбросил его из саней... Его принесли домой без чувств, с вывихнутою рукой и разбитою грудью. Старик перепугался, выписал лучших докторов из города. Они помогли Мишелю; но ему пришлось пролежать с месяц. В карты он не играл, говорить ему доктора запрещали, читать, держа книгу все одною рукой, было неловко. Кончилось тем, что сам Семен Матвеич послал меня к сыну, по старой памяти, в качестве лектрисы! Тут настали незабвенные часы! Я входила к Мишелю тотчас после обеда и садилась за круглым столиком, у полузавешенного окна. Он лежал в небольшой комнате, возле гостиной, у задней стены, на широком кожаном диване во вкусе «империи»[1], с золотым барельефом на высокой, прямой спинке; барельеф этот представлял свадебную процессию у древних. Бледная, слегка завалившаяся голова Мишеля тотчас поворачивалась на подушке и обращалась ко мне; он улыбался, светлел всем лицом, откидывал назад свои мягкие влажные волосы и говорил мне тихим голосом: «Здравствуйте, моя добрая, моя милая». Я принималась за книгу — романы Вальтера Скотта были тогда в славе,— особенно мне осталось памятным чтение «Айвенго»... Как голос мой невольно звенел и трепетал, когда я передавала речи Ревекки! Ведь и во мне текла еврейская кровь, и не походила ли моя судьба на ее судьбу, не ухаживала ли я, как она, за больным милым человеком? Всякий раз, когда я отрывала глаза от страниц книги и поднимала их на него, я встречала его глаза с тою же тихой и светлой улыбкой всего лица. Говорили мы очень мало: дверь в гостиную была постоянно отворена и кто-нибудь всегда сидел там; но когда там затихало, я, сама не знаю почему, переставала читать, и опускала книгу на колени, и неподвижно глядела на Мишеля, и он глядел на меня, и хорошо нам было обоим,

[1] Диван во вкусе «империи» — то есть в стиле ампир.

и как-то радостно, и стыдно, и все, все высказывали мы друг другу тогда, без движений и без слов. Ах! наши сердца сходились, шли навстречу друг другу, как сливаются подземные ключи, невидимо, неслышно... и неотразимо.

— Вы умеете играть в шахматы или в шашки? — спросил меня он однажды.

— В шахматы немного умею,— отвечала я.

— Ну и прекрасно. Велите принести доску и придвиньте столик.

Я уселась возле дивана, а сердце мое так и замирало, и не смела я взглянуть на Мишеля... А от окна, через всю комнату, как свободно я глядела на него!

Я стала расставлять шашки... Пальцы мои дрожали.

— Я это... не для того, чтоб играть с вами...— проговорил вполголоса Мишель, тоже расставляя шашки,— а чтобы вы были ближе ко мне.

Я ничего не ответила и, не спрося, кому начать, ступила пешкой... Мишель не отвечал на мой ход... Я посмотрела на него. Слегка вытянув голову, весь бледный, он умоляющим взором указывал мне на мою руку...

Поняла ли я его — не помню, но что-то мгновенно, вихрем закружилось у меня в голове... В замешательстве, едва дыша, я взяла ферзь, двинула ею куда-то через всю шашечницу. Мишель быстро наклонился и, поймав губами и прижав мои пальцы к доске, начал целовать их безмолвно и жадно... Я не могла, я не хотела принять их, я другою рукою закрыла лицо, и слезы, как теперь помню, холодные, но блаженные... о, какие блаженные слезы!.. закапали на столик одна за одною. Ах, я знала, я всем сердцем почувствовала тогда, в чьей власти была моя рука!.. Я знала, что ее держал не мальчик, увлеченный мгновенным порывом, не Дон Жуан, не военный Ловелас, а благороднейший, лучший из людей... и он любил меня!

— О моя Сусанна! — послышался мне шепот Мишеля,— я никогда не заставлю тебя плакать другими слезами...

Он ошибся... Он заставил.

Но к чему останавливаться на таких воспоминаниях... особенно, особенно теперь!

Мы с Мишелем поклялись принадлежать друг другу. Он знал, что Семен Матвеич никогда не позволит ему же-

ниться на мне, и не скрыл этого от меня. Я сама в этом не сомневалась, и я радовалась не тому, что Мишель не лукавил: он *не мог* лукавить,— а тому, что он не старался себя обманывать. Сама я ничего не требовала и пошла бы за ним, как и куда бы он захотел. «Ты будешь моей женой,— повторял он мне,— я не Айвенго; я знаю, что не с леди Ровеной счастье». Мишель скоро выздоровел. Я не могла больше ходить к нему; но все уже было решено между нами. Я уже вся отдалась будущему; я ничего не видела вокруг, точно я плыла по прекрасной, ровной, но стремительной реке, окруженная туманом. А за нами наблюдали, нас сторожили. Изредка я замечала злые глаза моего вотчима, слышала его гадкий смех... Но смех этот и глаза тоже как будто выступали из тумана, на один миг... Я содрогалась, но тотчас забывала и опять отдавалась той прекрасной, быстрой реке...

Накануне условленного между нами отъезда Мишеля (он должен был тайно вернуться с дороги и увезти меня) я получила от него чрез его доверенного камердинера записку, в которой он назначил мне свидание в половине десятого часа ночи, в летней биллиардной, большой, низкой комнате, пристроенной к главному дому со стороны сада. Он писал мне, что желает окончательно переговорить и условиться со мной. Я уже два раза виделась с Мишелем в биллиардной... у меня был ключ от наружной двери. Как только пробило половина десятого, я накинула душегрейку на плечи, тихонько вышла из флигеля и по скрипучему снегу благополучно добралась до биллиардной. Луна, задернутая паром, стояла тусклым пятном над самым гребнем крыши, и ветер свистал пискливым свистом из-за угла стены. Дрожь пробежала по мне, однако я вложила ключ в замок. Я вошла в комнату, притворила за собой дверь, обернулась... Темная фигура отделилась от одного из простенков, ступила раза два, остановилась...

— Мишель,— прошептала я.

— Мишель по моему приказанию заперт под замок, а это я! — отвечал мне голос, от которого сердце у меня так и оборвалось...

Предо мной стоял Семен Матвеич!

Я бросилась было бежать, но он схватил меня за руку.

— Куда? дрянная девчонка! — прошипел он.— Уме-

ешь к молодым дуракам на свиданье ходить, так умей и ответ держать!

Я помертвела от ужаса, но все порывалась к двери... Напрасно! Как железные крючья впились в меня пальцы Семена Матвеича.

— Пустите, пустите меня! — взмолилась я, наконец.

— Говорят вам, ни с места!

Семен Матвеич заставил меня сесть. В полутьме я не могла разглядеть его лица, я же отворачивалась от него, но я слышала, что он тяжело дышал и скрипел зубами. Не страх чувствовала я и не отчаяние, а какое-то бессмысленное удивление... Пойманная птица, должно быть, так замирает в когтях коршуна... да и рука Семена Матвеича, который все так же крепко держал меня, стискивала меня, как лапа...

— Ага! — повторял он,— ага! Вот как... вот до чего... Ну, постой же!

Я попыталась подняться, но он с такой силой встряхнул меня, что я чуть не вскрикнула от боли, и бранные слова, оскорбления, угрозы полились потоком...

— Мишель, Мишель, где ты, спаси меня,— простонала я.

Семен Матвеич еще раз встряхнул меня... Этот раз я не выдержала... я вскрикнула.

Это, повидимому, подействовало на него. Он утих немного, выпустил мою руку, но остался, где был, в двух шагах от меня, между мною и дверью.

Прошло несколько минут... Я не шевелилась; он тяжело дышал попрежнему.

— Сидите смирно,— начал он, наконец,— и отвечайте мне. Докажите мне, что ваша нравственность еще не совсем испорчена и что вы в состоянии внять голосу рассудка. Увлечение я еще извинить могу, но упорство закоренелое — никогда! Мой сын...— Тут он перевел дыхание.— Михайло Семеныч обещал вам жениться на вас? Не правда ли? Отвечайте же! Обещал? а?

Я, разумеется, ничего не отвечала.

Семен Матвеич чуть было не вспылил опять.

— Я принимаю ваше молчание за знак согласия,— продолжал он погодя немного.— Итак, вы задумали быть моею невесткой? Прекрасно! Но, не говоря уже о том, что вы не четырнадцатилетний ребенок и должны же знать, что все молодые балбесы не скупятся на самые не-

лепые обещанья, лишь бы добиться своих целей, не говоря об этом... но неужели же вы могли надеяться, что я, я, столбовой дворянин, Семен Матвеич Колтовской, когда-нибудь дам мое согласие на подобный брак! Или вы хотели обойтись без родительского благословения?.. Хотели бежать, обвенчаться тайно, а потом вернуться, комедию разыграть, броситься в ноги, в надежде, что старик, мол, расчувствуется... Да отвечайте же, черт возьми!

Я только голову наклонила. Убить меня он мог, но заставить говорить... это было не в его силах.

Он немного прошелся взад и вперед.

— Ну, послушайте,— начал он более спокойным голосом.— Вы не думайте... не воображайте... я вижу, с вами надо толковать иначе. Послушайте: я понимаю ваше положение. Вы запуганы, растеряны... Придите в себя. В эту минуту я должен вам казаться извергом... тираном. Но войдите также и в мое положение: как тут было мне не вознегодовать, не сказать лишнего? И со всем тем я вам уже доказал, что я не изверг, что и у меня есть сердце. Вспомните, как я обошелся с вами после приезда в деревню и потом, до... до последнего времени... до болезни Михаила Семеныча. Я не хочу хвастаться своими благодеяниями, но мне кажется, одна благодарность должна была удержать вас от того скользкого пути, на который вы решились ступить!..

Семен Матвеич опять прошелся взад и вперед и, остановившись, потрепал меня слегка по руке, по той самой руке, которая еще ныла от его насилия и на которой я долго потом носила синие знаки...

— То-то и есть...— заговорил он снова,— голова... голова у нас горячая! Не хотим мы дать себе труд подумать, отчета себе дать не хотим, в чем состоит наша польза и где мы ее искать должны. Вы спросите у меня: где эта польза? Далеко вам ходить нечего... Она, быть может, у вас под руками... Да вот хоть бы я. Как родитель, как глава, я, конечно, должен был взыскать... Это моя обязанность. Но я человек в то же время, и вы это знаете. Бесспорно: я человек практический и, конечно, никакой чепухи допустить не могу, ни с чем несообразные надежды надо, конечно, из головы выкинуть, потому, какой в них толк? Я уж не говорю о безнравственности самого поступка... Вы это все должны понять сами, когда опомнитесь. А я, не хвастаясь, скажу, я бы не

ограничился тем, что уже сделал для вас; я всегда готов был — и готов еще теперь — устроить, упрочить ваше благосостояние, обеспечить вас вполне, потому что я знаю вам цену, отдаю справедливость вашим талантам, вашему уму, да и, наконец... (Тут Семен Матвеич слегка пригнулся ко мне). У вас такие глазки, что, признаться... я вот старик, а совершенно равнодушно видеть их... я понимаю... это трудно, это действительно трудно.

Холодом обдало меня от этих слов. Я ушам своим едва поверила. В первую минуту мне показалось, что Семен Матвеич хотел купить мое отречение от Мишеля, дать мне «отступного»... Но эти слова! Мои глаза начинали привыкать к темноте, и я могла различить лицо Семена Матвеича. Оно улыбалось, это старое лицо, а сам он все расхаживал маленькими шагами, семенил предо мною...

— Ну, так как же? — спросил он, наконец, — нравится вам мое предложение?

— Предложение?.. — повторила я невольно... я решительно ничего не понимала.

Семен Матвеич засмеялся... действительно засмеялся своим противным, тонким смехом.

— Конечно! — воскликнул он,— вы все, молодые девки...— он поправился: — девицы... девицы... вы все об одном только мечтаете: вам все молодых подавай! Без любви вы жить не можете! Конечно. Что говорить! Молодость — дело хорошее! Но разве одни молодые любить умеют?.. У иного старика сердце еще горячее, и уж коли старик кого полюбит, так уж это — каменная скала! Это навек! Не то, что эти безбородые лоботрясы, у которых только ветер в головах ходит! Да, да; старичками брезгать не следует! Они могут сделать многое! Только взяться за них надо умеючи! Да... да! И ласкать старички умеют тоже, хи-хи-хи...— Семен Матвеич опять засмеялся.— Да вот позвольте... Вашу ручку... для пробы... только так... для пробы...

Я вскочила со стула и изо всей силы толкнула его в грудь. Он отшатнулся, он издал какой-то дряхлый, испуганный звук, он чуть не упал. На человеческом языке нет слов, чтобы выразить, до какой степени он мне показался гнусен и ничтожно низок. Всякое подобие страха исчезло во мне.

— Подите прочь, презренный старик,— вырвалось у

меня из груди,— подите прочь, господин Колтовской, столбовой дворянин! И во мне течет ваша кровь, кровь Колтовских, и я проклинаю тот день и час, когда она потекла по моим жилам!

— Что?.. Что ты говоришь?.. Что? — лепетал, задыхаясь, Семен Матвеич.— Ты смеешь... в ту минуту, когда я тебя застал... когда ты шла к Мишке... а? а? а?

Но я уже не могла остановиться... Что-то беспощадно отчаянное проснулось во мне.

— И вы, вы, брат... брат вашего брата, вы дерзнули, вы решились... За кого же вы приняли меня? И неужели же вы так слепы, что не могли давно заметить то отвращение, которое вы возбуждаете во мне?.. Вы смели употребить слово: предложение!.. Выпустите меня сейчас, сию минуту.

Я направилась к двери.

— А, вот что! вот как! вот когда она заговорила! — запищал Семен Матвеич в исступлении злобы, но, видимо, не решаясь подойти ко мне...— Погоди же! Господин Ратч, Иван Демьяныч! пожалуйте сюда!

Дверь биллиардной, противоположная той, к которой я приближалась, раскрылась настежь, и, с зажженным канделябром в каждой руке, появился мой вотчим. Освещенное с двух сторон свечами, его круглое красное лицо сияло торжеством удовлетворенной мести, лакейскою радостью удачной услуги... О, эти гадкие, белые глаза! когда я перестану их видеть!

— Извольте тотчас взять эту девушку,— воскликнул Семен Матвеич, обращаясь к моему вотчиму и повелительно указывая на меня дрожащей рукой.— Извольте отвести ее к себе в дом и запереть на ключ, на замок... чтоб она... пальцем пошевельнуть не могла, чтобы муха к ней не проскочила! Впредь до моего приказания! Окна забить, если нужно! Ты отвечаешь мне за нее головой!

Г-н Ратч поставил канделябры на биллиард, поклонился в пояс Семену Матвеичу и, слегка переваливаясь и злорадно улыбаясь, направился ко мне. Кот, должно быть, так подходит к мыши, которой некуда спастись. Вся моя отвага тотчас меня покинула. Я знала, этот человек был в состоянии... прибить меня. Я задрожала; да; о, позор! о, стыд! я задрожала.

— Ну-с, сударыня,— проговорил г. Ратч,— извольте-с идти-с.

Он, не спеша, взял меня за руку выше локтя... Он понимал, что я сопротивляться не буду. Я сама подалась вперед к двери; в эту минуту я думала только об одном: как бы поскорее избавиться от присутствия Семена Матвеича.

Но гадкий старик подскочил к нам сзади, и Ратч остановил меня и повернул меня лицом к своему патрону.

— А! — закричал тот и потряс кулаком,— а! я брат... моего брата! Узы крови? а? А за брата, за двоюродного, выйти замуж можно? Можно? а? Веди ее, ты! — обратился он к моему вотчиму.— И помни: держать ухо востро! За малейшее сообщение с нею — казни не будет достойной... Веди!

Г-н Ратч привел меня в мою комнату. Идя по двору, он ничего не сказал мне, все только смеялся про себя, без звука. Он запер ставни, двери и тут же, уходя окончательно и кланяясь мне в пояс, как Семену Матвеичу, прыснул, разразился тяжелым восторженным хохотом. «Покойной ночи царевне Меликитрисе,— удушливо простонал он,— не поймала Митрофана-царевича! Жаль! Мысль была в своем роде не глупая! Вперед наука: не заводить корреспонденций! Хо-хо-хо! Как, однако, все славно обделалось!» Он вышел и вдруг высунул голову из-за двери. «Что? Ведь не *забыл* я вам? Ась? Слово сдержал? Хо-хо!» Ключ щелкнул в замке. Я вздохнула свободно. Я боялась, как бы он мне рук не связал... но они были мои,— они были свободны! Я мгновенно сдернула шелковый шнурок со спального капота, сделала петлю, приблизила ее к шее, но тотчас же отбросила шнурок в сторону. «Не потешу я вас! — сказала я громко.— И в самом деле? Что за безумие? Могу ли я располагать моею жизнью без ведома Мишеля, моею жизнью, которую сама ему отдала? Нет, мои злодеи! Нет! Дело еще не выиграно вами! Он меня спасет, он вырвет меня из этого ада, он... мой Мишель!»

Но тут я вспомнила, что он в заключении, так же как и я,— и я бросилась лицом на постель, зарыдала... зарыдала... И только мысль, что мой мучитель, быть может, стоит за дверью, и прислушивается, и торжествует, только эта моя мысль заставила меня поглотить мои слезы...

Я утомлена. Я пишу с утра, а теперь вечер; оторвавшись раз от этого листа бумаги, я уже не буду в со-

стоянии приняться снова за перо... Скорей, скорей к концу! Да и притом останавливаться на безобразиях, которые последовали за тем страшным днем, свыше сил моих!

Меня через сутки перевезли в закрытом возке в отдельную дворовую избу, окружили мужиками-караульщиками, меня держали взаперти целые шесть недель! Я ни минуты не была одна... Уже впоследствии я узнала, что вотчим мой с самого приезда Мишеля приставил и к нему и ко мне шпионов, что он подкупил слугу, который доставил мне записку от Мишеля; узнала я также, что между им и отцом его произошла на следующее утро ужасная, возмутительная сцена... Отец его проклял. Мишель с своей стороны поклялся, что ноги его не будет в родительском доме, и уехал в Петербург. Но удар, нанесенный мне моим вотчимом, отразился на нем самом. Семен Матвеич объявил ему, что оставаться ему в деревне, управлять именьем, более невозможно: видно, неловкое усердие не прощается, и надо же было взыскать на комнибудь за происшедший *скандал*. Впрочем, Семен Матвеич щедро наградил г. Ратча; он дал ему средства перебраться в Москву и поселиться там. Пред отъездом в Москву меня перевели обратно во флигель, но попрежнему держали под строжайшим надзором. Потеря «тепленького» местечка, которого он лишился «по моей милости», еще увеличила злобу моего вотчима против меня.

— И кого удивить вздумали? — говаривал он, чуть не фыркая от негодования,— право! Старичок, конечно, погорячился, поспешил, ну, и попал впросак; теперь, конечно, самолюбие его пострадало, беду теперь поправить нельзя. Подождать бы денька два, и все бы как по маслу пошло; вы бы теперь не сидели на сухоедении, и я бы остался, чем был! То-то и есть: длинен у баб волос... а ум короток! Ну, да ладно; я свое возьму, и тот голубчик (он намекал на Мишеля) меня не забудет!

Я, разумеется, должна была сносить в молчании все эти оскорбления. И Семена Матвеича я уже больше ни разу не видела. Разлука с сыном потрясла и его. Почувствовал ли он раскаяние, или — что гораздо вероятнее — желал ли он навсегда приковать меня к моему дому, к моей семье — к моей семье! — только он назначил мне пенсию, которая должна была поступать в руки моего

вотчима и выдаваться мне до тех пор, пока я выйду замуж... Это унизительное подаяние, эту пенсию, я до сих пор получаю... то есть г. Ратч получает ее за меня...

Поселились мы в Москве. Клянусь памятью моей бедной матери, двух дней, двух часов я бы не осталась с моим вотчимом, *попавши в город...* Я бы ушла, не зная куда... в полицию, бросилась бы в ноги к генерал-губернатору, сенаторам, я не знаю, что бы я сделала, если бы в самую минуту отъезда из деревни бывшей моей горничной не удалось передать мне письмо от Мишеля! О, это письмо! Сколько раз я перечитывала каждую строку, сколько раз покрыла его поцелуями! Мишель умолял меня не падать духом, надеяться, быть уверенною в его неизменной любви; он клялся, что, кроме меня, никому принадлежать не будет, он называл меня своей женой, он обещал устранить все препятствия, он рисовал картину нашего будущего, он просил меня об одном: потерпеть, подождать немного... И я решилась ждать и терпеть. Ах, на что́ бы не согласилась я, чего бы не вынесла, чтобы только исполнить его волю! Это письмо стало моею святынею, моею путеводною звездой, моим якорем. Бывало, мой вотчим начнет укорять, оскорблять меня, я тихонько положу руку на грудь (я носила письмо Мишеля зашитым в ладонку) и только улыбнусь. И чем больше бесится и бранится г. Ратч, тем мне легче становится и слаще... Я, наконец, видела по его глазам, что он начинал думать, не схожу ли я с ума... Вслед за тем первым письмом пришло второе, еще более исполненное надежд... Оно говорило о близком свидании.

Ах, вместо этого свидания настало одно утро... И вижу я, входит ко мне г. Ратч,— и опять торжество, злорадное торжество на его лице,— и в руках его лист «Инвалида»[1], и там известие о смерти гвардии ротмистра Михаила Колтовского... Исключен из списков.

Что могу я прибавить? Я осталась жива и продолжала жить у г. Ратча. Он ненавидел меня попрежнему, больше прежнего.— он слишком разоблачил предо мной свою черную душу, он не мог мне это простить. Но мне было все равно. Я стала какою-то бесчувственною; моя собственная судьба меня уже не занимала. Вспоминать

[1] Лист «Инвалида» — «Русский инвалид», газета военного ведомства.

о *нем*, вспоминать о *нем!* другого занятия, других радостей у меня не было. Мой бедный Мишель скончался с моим именем на устах... Мне это сообщил один преданный ему человек, который вместе с ним приезжал в деревню. Вотчим мой в том же году женился на Элеоноре Карповне. Вскоре умер и Семен Матвеич, подтвердив и увеличив в завещании своем пожалованную мне пенсию... В случае моей смерти она должна перейти к г. Ратчу...

Минуло два, три года... прошло шесть лет, семь лет... Жизнь уходила, утекала... а я только глядела, как утекала она. Так, бывало, в детстве, устроишь на берегу ручья из песку сажалку, и плотину выведешь, и всячески стараешься, чтобы вода не просочилась, не прорвалась... Но вот она прорвалась, наконец, и бросишь ты все свои хлопоты, и весело тебе станет смотреть, как все накопленное тобою убегает до капли...

Так жила я, так существовала, пока, наконец, новый, уже неожиданный луч тепла и света...»

. . . .

На этом слове останавливалась рукопись; последующие листы были оторваны, и несколько строк, оканчивавших фразу, зачеркнуты и перемараны чернилами.

XVIII

Чтение этой тетради до того меня смутило, впечатление, произведенное посещением Сусанны, было так велико, что я не мог уснуть всю ночь и рано поутру послал с эстафетой к Фустову письмо, в котором заклинал его вернуться как можно скорее в Москву, так как его отсутствие могло иметь самые тяжелые последствия. Я намекнул ему тоже на свидание с Сусанной, на тетрадку, которую она оставила в моих руках. Отправив письмо, я весь тот день уже не выходил из дому и все размышлял о том, что должно было происходить там, у Ратчей. Пойти самому туда я не решался. Я не мог, однако, не заметить, что тетушка моя находилась в постоянной тревоге: она приказывала курить чуть ли не каждую минуту и раскладывала пасьянс «Путешественник», известный тем, что никогда не выходит! Визит незнакомой дамы, да

еще в такую позднюю пору, не остался для нее тайной: ее воображенью тотчас представилась зияющая бездна, на краю которой я стоял, и она то и дело вздыхала, охала и произносила вполголоса французские сентенции, почерпнутые ею из рукописной книжечки под заглавием: «Extraits de lecture»[1], а вечером на моем ночном столике очутилось сочинение Де Жерандо, развернутое на главе: «О вреде страстей»[2]. Сочинение это было занесено в мою комнату, разумеется по приказанию тетушки, старшею ее компаньонкой, которую в доме прозывали Амишкой вследствие ее сходства с маленьким пуделем того же имени, девицей очень сентиментальною и даже романтическою, но перезрелою. Весь следующий день прошел в томительном ожидании приезда Фустова, письма от него, известий из дома Ратчей... хотя с какой стати было им посылать ко мне? Скорей Сусанна могла предполагать, что я посещу ее... Но у меня решительно духа не хватало увидать ее, не поговорив сперва с Фустовым. Я припоминал все выраженья моего письма к нему... Кажется, они были довольно сильны; наконец, уж поздно вечером, он явился.

XIX

Он вошел ко мне в комнату своею обычною быстрою, но неторопливою походкой. Лицо его мне показалось бледным и, являя следы дорожной усталости, выражало недоумение, любопытство, недовольство — чувства в обычное время ему мало известные. Я бросился к нему, обнял его, горячо поблагодарил его за то, что он меня послушался, и, передав в двух словах мой разговор с Сусанной,— вручил ему ее тетрадку. Он отошел к окну, к тому самому окну, на котором два дня тому назад сидела Сусанна, и, не сказав мне ни слова, принялся читать. Я тотчас удалился в противоположный угол комнаты и взял для контенанса книгу; но, признаюсь, все время глядел украдкой через край переплета на Фустова. Сначала он читал довольно спокойно и все щипал левою рукой

[1] Выписки из прочитанного *(франц.)*.

[2] Из книги французского философа Жозефа Мари де Жерандо (1772—1841) «О совершенствовании морали и о воспитании самого себя» (1824).

концы волосиков на губе; потом он опустил руку, нагнулся вперед и уже не шевельнулся более. Глаза его так и бегали по строкам, и рот слегка раскрылся. Вот он кончил тетрадку, перевернул ее, посмотрел кругом, задумался и снова принялся ее читать и перечел ее всю во второй раз от начала до конца. Потом он встал, положил тетрадку в карман и направился было к двери, однако вернулся и остановился посреди комнаты.

— Ну, что ты думаешь? — начал я, не дождавшись, чтоб он заговорил.

— Я виноват перед нею,— произнес Фустов глухо.— Я поступил... необдуманно, непростительно, дико. Я поверил этому... Виктору.

— Как! — воскликнул я,— тому самому Виктору, которого ты так презираешь? Да что он мог сказать тебе?

Фустов скрестил руки и стал ко мне боком. Ему было совестно, я это видел.

— Ты помнишь,— промолвил он не без некоторого усилия,— этот... Виктор упомянул о... о пенсии. Это несчастное слово засело во мне. Оно всему причиной. Я стал его расспрашивать... Ну, и он...

— Что же он?

— Он сказал мне, что тот старик... как бишь его?.. Колтовской, назначил эту пенсию Сусанне, потому что... оттого... ну, словом, в виде вознаграждения.

Я всплеснул руками.

— И ты поверил?

Фустов наклонил голову.

— Да! Я поверил... Он также сказал, что и с молодым... Словом, мой поступок не имеет оправданья.

— И ты удалился, чтобы все перервать?

— Да; это лучшее средство... в таких случаях. Я поступил дико, дико,— подхватил он.

Мы оба помолчали. Каждый из нас чувствовал, что другому было стыдно; но мне было легче: я стыдился не за себя.

XX

— Я бы теперь этому Виктору все кости переломал,— продолжал Фустов, стиснув зубы,— если бы сам не сознавал себя виноватым. Я теперь понимаю, почему вся

эта штука подведена была: с замужеством Сусанны они лишались ее пенсии... Подлецы!

Я взял его за руку.

— Александр,— спросил я,— ты был у ней?

— Нет; я прямо с дороги к тебе. Я пойду завтра... завтра рано. Этого нельзя так оставить. Ни за что!

— Да ты... любишь ее, Александр?

Фустов как будто обиделся.

— Конечно, я ее люблю. Я очень к ней привязан.

— Она прекрасная, честная девушка! — воскликнул я.

Фустов нетерпеливо топнул ногою.

— Да что ты воображаешь? Я готов был жениться на ней,— она же крещеная,— и я теперь готов на ней жениться, я уже думал об этом, хотя она старше меня.

В это мгновенье мне вдруг показалось, что на окне сидит, склонившись на руки, бледная женская фигура. Свечи нагорели: в комнате было темно. Я вздрогнул, вгляделся пристальнее и ничего, конечно, не увидал на подоконнике, но какое-то странное чувство, смешение ужаса, тоски, сожаления охватило меня.

— Александр! — начал я с внезапным увлечением,— прошу тебя, умоляю тебя, ступай сейчас к Ратчам, не откладывай до завтра! Мне внутренний голос говорит, что тебе непременно должно сегодня же увидаться с Сусанной!

Фустов пожал плечами.

— Что ты это, помилуй! Теперь одиннадцатый час, у них, вероятно, все уже спят в доме.

— Все равно... Ступай, ради бога! У меня есть предчувствие... Пожалуйста, послушайся меня! Ступай сейчас, возьми извозчика...

— Ну, что за вздор! — хладнокровно возразил Фустов,— с какой стати я пойду теперь? Завтра утром я там буду, и все разъяснится.

— Но, Александр, вспомни, она говорила о том, что она умрет, что ты ее не застанешь... И если б ты видел ее лицо! Подумай, представь, чтобы решиться идти ко мне... чего ей стоило...

— У ней восторженная голова,— промолвил Фустов, который, повидимому, снова вполне овладел собою.— Все молодые девушки так... на первых порах. Повторяю, завтра все придет в порядок. Пока прощай. Я устал, да и тебе спать хочется.

Он взял фуражку и пошел вон из комнаты.

— Но ты обещаешь тотчас прийти сюда и все сказать мне? — крикнул я ему вслед.

— Обещаю... Прощай!

Я лег в постель, но на сердце у меня было неспокойно, и я досадовал на моего друга. Я заснул поздно и видел во сне, будто мы с Сусанной бродим по каким-то подземным сырым переходам, лазим по узким крутым лестницам и все глубже и глубже спускаемся вниз, хотя нам непременно следует выбраться вверх, на воздух, и кто-то все время беспрестанно зовет нас, однообразно и жалобно.

XXI

Чья-то рука легла на мое плечо и несколько раз меня толкнула... Я открыл глаза и, при слабом свете одинокой свечи, увидел пред собою Фустова. Он испугал меня. Он качался на ногах; лицо его было желто, почти одного цвета с волосами; губы отвисли, мутные глаза глядели бессмысленно в сторону. Куда девался их постоянно ласковый и благосклонный взор? У меня был двоюродный брат, который от падучей болезни впал в идиотизм... Фустов походил на него в эту минуту.

Я поспешно приподнялся.

— Что такое? Что с тобою? Господи!

Он ничего не отвечал.

— Да что случилось? Фустов? Говори же! Сусанна?..

Фустов слегка встрепенулся.

— Она...— начал он сиплым голосом и умолк.

— Что с нею? Ты ее видел?

Он уставился на меня.

— Ее уже нет.

— Как нет?

— Совсем нет. Она умерла.

Я вскочил с постели.

— Как умерла! Сусанна? Умерла?

Фустов опять отвел глаза в сторону.

— Да, умерла; в полночь.

«Он рехнулся!» — мелькнуло у меня в голове.

— В полночь! Да теперь который час?

— Теперь восемь часов утра. Мне прислали сказать. Ее завтра хоронят.

Я схватил его за руку.

— Александр, ты не бредишь? Ты в своем уме?

— Я в своем уме,— отвечал он.— Я, как узнал это, сейчас отправился к тебе.

Сердце во мне болезненно окаменело, как это всегда бывает при убеждении в невозвратно совершившейся беде.

— Боже мой! Боже мой! Умерла! — твердил я.— Как это возможно! Так внезапно! Или, может быть, она сама лишила себя жизни?

— Не знаю,— проговорил Фустов.— Ничего не знаю. Мне сказали: в полночь скончалась. И завтра хоронить будут.

«В полночь,— подумал я...— Стало быть, она была еще жива вчера, когда она мне почудилась на окне, когда я умолял его бежать к ней...»

— Она была еще жива вчера, когда ты посылал меня к Ивану Демьянычу,— промолвил Фустов, словно угадав мою мысль.

«Как же мало он знал ее! — подумал я опять.— Как мало мы оба ее знали! Восторженная голова, говорил он, все молодые девушки так... А в ту самую минуту она, быть может, подносила к губам... Возможно ли любить кого-нибудь и так грубо в нем ошибаться?»

Фустов неподвижно стоял пред моею кроватью с повисшими руками, как виноватый.

XXII

Я наскоро оделся.

— Что же ты намерен делать, Александр?— спросил я.

Он посмотрел на меня с недоуменьем, как бы дивясь нелепости моего вопроса. И в самом деле, что было делать?

— Ты, однако, не можешь не пойти к ним,— начал я.— Ты должен узнать, как это случилось; тут, может быть, преступление скрывается. От этих людей всего ожидать следует... Это все на чистую воду вывести следует. Вспомни, что стоит в *ее* тетрадке: пенсия прекращается в случае замужества, а в случае смерти *переходит* к Ратчу. Во всяком случае, последний долг отдать надо, поклониться праху!

Я говорил Фустову как наставник, как старший брат. Среди всего этого ужаса, горя, изумления какое-то невольное чувство превосходства над Фустовым внезапно проявилось во мне... Оттого ли, что я видел его подавленным сознаньем своей вины, потерявшимся, уничтоженным; оттого ли, что несчастье, поразив человека, почти всегда его роняет, спускает его ниже в мнении других — «стало, мол, ты плох, коли не умел увернуться!» — господь ведает! Только Фустов мне казался почти ребенком, и жалко было мне его, и понимал я необходимость строгости. Я протягивал ему руку сверху вниз. Одно лишь женское сожаление не идет сверху вниз.

Но Фустов продолжал глядеть на меня тупо и дико,— мой авторитет, очевидно, не действовал на него,— и на мой вторичный вопрос: «Ведь ты пойдешь к ним?» — отвечал: «Нет, не пойду».

— Как же это, помилуй! Неужели ты не захочешь сам узнать, расспросить: как, что? Может быть, она оставила письмо... документ какой-нибудь... помилуй!

Фустов покачал головой.

— Я не могу пойти туда,— промолвил он.— Я затем и пришел к тебе, чтобы попросить тебя... вместо меня... А я не могу... не могу...

Фустов вдруг присел к столу, закрыл лицо обеими руками и зарыдал горько.

— Ах, ах,— твердил он сквозь слезы,— ах, бедная... бедняжка... я лю... я любил ее... ах, ах!

Я стоял возле него, и, должен сознаться, никакого участия не возбуждали во мне эти бесспорно искренние рыданья; я только удивлялся тому, что Фустов мог *так* плакать, и мне показалось, что я *теперь* понял, какой он маленький человек и как я, на его месте, поступил бы совсем иначе. Вот и подите после этого! Если бы Фустов остался совершенно спокоен, я, быть может, возненавидел бы его, возымел бы к нему отвращение, но он не упал бы в моем мнении... *Престиж* бы его сохранился, Дон Жуан остался бы Дон Жуаном! Очень поздно в жизни — и только после многих опытов — научается человек, при виде действительного падения или слабости собрата, сочувствовать ему и помогать ему без тайного самоуслаждения собственною добродетелью и силой, а, напротив, со всяческим смирением и пониманием естественности, почти неизбежности вины!

XXIII

Я очень храбро и решительно посылал Фустова к Ратчам, но когда сам я к ним отправился часов в двенадцать (Фустов ни за что не согласился идти со мною и только просил меня отдать ему подробный отчет во всем), когда из-за поворота переулка издали глянул на меня их дом с желтоватым пятном пригробной свечи в одном из окон, несказанный страх стеснил мое дыхание, я бы охотно вернулся назад... Однако я преодолел себя и вошел в переднюю. В ней пахло ладаном и воском; розовая крыша гроба, обитая серебряным позументом, стояла в углу, прислоненная к стене. В одной из соседних комнат, в столовой, гудело, как залетевший шмель, однообразное бормотанье дьячка. Из гостиной выглянуло заспанное лицо служанки; промолвив вполголоса: «Поклониться пришли?» — она указала на дверь столовой. Я вошел. Гроб стоял к дверям головой; черные волосы Сусанны под белым венчиком, над приподнятою бахромой подушки, первые бросились мне в глаза. Я зашел сбоку, перекрестился, поклонился в землю, взглянул... Боже! какой горестный вид! Несчастная! даже смерть ее не пожалела; не придала ей — не говорю уже красоты — но даже той тишины, умиленной и умилительной тишины, которая так часто встречается на чертах усопших. Маленькое, темное, почти коричневое лицо Сусанны напоминало лики на старых-старых образах, и какое выражение было на этом лице! Такое выражение, как будто она собралась крикнуть отчаянным криком, да так и замерла, не произнеся звука... даже морщинка между бровями не изгладилась, а пальцы на руках были подвернуты и сжаты. Я невольно отвел взор, но погодя немного я заставил себя поглядеть, внимательно и долго поглядеть на нее. Жалость наполнила мою душу, и не одна только жалость. «Эта девушка умерла насильственною смертью,— решил я про себя,— это несомненно». Пока я стоял и глядел на покойницу, дьячок, который при входе моем возвысил было голос и произнес несколько членораздельных звуков, снова загудел и зевнул раза два. Я вторично поклонился в землю и вышел в переднюю. На пороге гостиной уже ожидал меня г. Ратч, одетый в пестрый бухарский шлафрок, и, поманив меня к себе рукою, повел меня в свой кабинет, я чуть было

не сказал, в свою нору. Кабинет этот, мрачный, тесный, весь пропитанный кислым запахом вакштафа, возбуждал в уме сравнение с жилищем волка или лисицы.

XXIV

— Разрыв! разрыв там этих покровов... оболочки... Вы знаете... покровов! — заговорил г. Ратч, как только запер дверь. — Такое несчастие! Еще вчера вечером нельзя было ничего заметить, и вдруг: р-р-р-раз! трах! пополам! и конец! Вот уж точно: «Heute roth, morgen todt!»[1] Правда, это должно было ожидать: я это всегда ожидал, мне в Тамбове полковой доктор Галимбовский, Викентий Казимирович... Вы, наверное, слыхали о нем... отличнейший практик, специалист!

— В первый раз слышу это имя,— заметил я.

— Ну, все равно; так вот он,— продолжал г. Ратч, сперва тихим голосом, а потом все громче и громче и, к удивлению моему, с заметным немецким акцентом,— он меня всегда предупреждал: «Эй! Иван Демьяныч! эй! друг мой, берегитесь! У вашей падчерицы органический недостаток в сердце — hypertrophia cordialis![2] Чуть что, беда! Сильных ощущений пуще всего избегать должно... На рассудок должно действовать...» А помилуйте, разве можно с молодою девицей!.. на рассудок действовать? Ха...ха...ха...

Г-н Ратч чуть было не засмеялся, по старой привычке, но во-время спохватился и перевел начатый звук на кашель.

Это г. Ратч говорил! после всего того, что я узнал о нем!.. Я почел, однако, своею обязанностью спросить его: был ли призван доктор?

Г-н Ратч даже подпрыгнул.

— Конечно, был... Двоих призывали, но уже все было совершено — abgemacht! И вообразите: оба словно столковались (г. Ратч, вероятно, хотел сказать: стакнулись): разрыв! разрыв сердца! Так в одно слово и закричали. Предлагали анатомию, но я уже... вы понимаете, не согласился.

---

[1] Нынче жив, завтра мертв! *(нем.)*

[2] Расширение сердца! *(лат.)*

— И завтра похороны? — спросил я.

— Да, да, завтра, завтра мы хороним нашу голубицу! Вынос из дома будет ровно в одиннадцать часов пополуночи... Отсюда в церковь Николы на Курьих Ножках... Знаете? Странные какие имена у ваших русских церквей! Потом на последний покой в матушке земле сырой! Вы пожалуете? Мы недавно знакомы, но, смею сказать, любезность вашего нрава и возвышенность чувств...

Я поспешил кивнуть головой.

— Да, да, да,— вздохнул г. Ратч.— Это... это уж точно, как говорится, молния на светлом небеси! Ein Blitz aus heiterem Himmel!

— И ничего Сусанна Ивановна не сказала перед смертью, ничего не оставила?

— Ничего решительно! Ни синь-пороха! Ни единого клочка бумаги! Помилуйте, когда меня к ней позвали, когда разбудили меня — представьте! она уже окоченела! Очень чувствительно было для меня; очень она нас всех огорчила! Александр Давыдыч, чай, тоже пожалеет, как узнает... Говорят, его в Москве нет?

— Он точно уезжал на несколько дней...— начал было я.

— Виктор Иваныч жалуются, что саней им долго не закладывают,— перебила меня вошедшая служанка, та самая, которую я видел в передней. Лицо ее, попрежнему заспанное, поразило меня в этот раз тем выражением дерзкой грубости, какое появляется у слуг, когда они знают, что господа от них зависят и не решатся ни бранить их, ни взыскивать с них.

— Сейчас, сейчас,— засеменил Иван Демьяныч,— Элеонора Карповна! Leonore! Lenchen![1] пожалуйте сюда!

Что-то грузно завозилось за дверью, и в ту же минуту раздалось повелительное восклицание Виктора: «Что ж это, лошадь не закладывают? не пешком же мне в полицию тащиться?»

— Сейчас, сейчас,— снова залепетал Иван Демьяныч.— Элеонора Карповна, пожалуйте же сюда!

— Aber, Иван Демьяныч,— послышался ее голос,— ich habe keine Toilette gemacht!

[1] Ленора! Ленхен! *(нем.)*

— Macht nichts. Komm herein![1]

Элеонора Карповна вошла, придерживая двумя пальцами косынку на голой шее. На ней был утренний капот-распашонка, и волос она не успела причесать. Иван Демьяныч тотчас подскочил к ней.

— Вы слышите, Виктор лошадь требует,— промолвил он, торопливо указывая пальцем то на дверь, то на окно.— Пожалуйста, распорядитесь попроворнее! Der Kerl schreit so!

— Der Victor schreit immer, Иван Демьяныч, Sie wissen wohl[2], — отвечала Элеонора Карповна, — и я сама сказала кучеру, только он вздумал овес задавать. Вот какое несчастие случилось вдруг,— прибавила она, обратясь ко мне,— и кто это мог ожидать от Сусанны Ивановны?

— Я всегда это ожидал, всегда! — закричал Ратч и высоко поднял руки, причем его бухарский халат разъехался спереди, и обнаружились препротивные нижние невыразимые из замшевой кожи с медными пряжками на поясе.— Разрыв сердца! разрыв оболочек! Гипертрофия!

— Ну да,— повторила за ним Элеонора Карповна,— гипо... Ну, вот это. Только мне очень, очень жалко, опять-таки скажу...— И ее топорное лицо понемножку перекосилось, брови приподнялись треугольником, и крохотная слезинка скатилась на круглую, точно налакированную, как у куклы, щеку...— Мне очень жалко, что такой молодой человек, которому только бы следовало жить и пользоваться всем... всем... И этакое вдруг отчаяние!

— Na! gut, gut... geh, alte![3] — перебил г. Ратч.

— Geh' schon, geh' schon[4], — проворчала Элеонора Карповна и вышла вон, все еще придерживая пальцами косынку и роняя слезинки.

И я отправился вслед за нею. В передней стоял Виктор в студенческой шинели с бобровым воротником и фуражкой набекрень. Он едва глянул на меня через плечо,

---

[1] Но я еще не одета! — Пустяки. Входи! *(нем.)*

[2] Он так кричит! — Виктор всегда кричит, вы хорошо это знаете *(нем.)*.

[3] Ну, хорошо, хорошо... иди, старая! *(нем.)*

[4] Иду уж, иду уж *(нем.)*.

встряхнул воротником и ие поклонился, за что я ему мысленно сказал большое спасибо.

Я вериулся к Фустову.

XXV

Я застал моего приятеля сидящим в углу своего кабииета, с понуренною головой и скрещеииыми на груди руками. На него нашел столбняк, и глядел он вокруг себя с медленным изумлением человека, который очень крепко спал и которого только что разбудили. Я ему рассказал свое посещение у Ратча, передал ему речи ветерана, речи его жены, впечатление, которое они оба произвели на меня, сообщил ему мое убеждение в том, что несчастная девушка сама себя лишила жизни... Фустов слушал меня, не меняя выражеиия лица, и с тем же изумлением посматривал кругом.

— Ты ее видел? — спросил он меня, иакоиец.

— Видел.

— В гробу?

Фустов словно сомневался в том, что Сусаниа действительно умерла.

— В гробу.

Фустов перекосил и опустил глаза и тихоиько потер себе руки.

— Тебе холодио? — спросил я.

— Да, брат, холодно,— отвечал он с расстановкой и бессмысленно покачал головою.

Я иачал ему доказывать, что Сусанна непременно отравилась, а может быть, и отравлена была, и что этого нельзя так оставить...

Фустов уставился на меня.

— Что же тут делать? — сказал он, медлеино и широко моргая.— Хуже ведь... если узиают. Хоронить ие станут. Оставить надо... так.

Мне эта, впрочем, очень простая мысль в голову ие приходила. Практический смысл моего приятеля не изменял ему.

— Когда... ее хоронят? — продолжал ои.

— Завтра.

— Ты пойдешь?

— Да.

— В дом или прямо в церковь?

— И в дом и в церковь; а оттуда на кладбище.

— А я не пойду... Я не могу, не могу,— прошептал Фустов и начал всхлипывать. Он и поутру на тех же самых словах зарыдал. Я заметил, это часто случается с плачущим; точно будто одним известным словам, большею частью незначительным,— но именно *этим* словам, а не другим,— дано раскрыть источник слез в человеке, потрясти его, возбудить в нем чувство жалости к другому и к самому себе... Помнится, одна крестьянка, рассказывая при мне про внезапную смерть своей дочери во время обеда, так и заливалась и не могла продолжать начатого рассказа, как только произносила следующую фразу: «Я ей говорю: Фекла? А она мне: мамка, соль-то ты куда... соль куда... со-оль...» Слово «соль» ее убивало. Но меня, так же, как и поутру, мало трогали слезы Фустова. Я не постигал, каким образом он мог не спросить меня, не оставила ли Сусанна чего-нибудь для него? Вообще их взаимная любовь была для меня загадкой: она так и осталась загадкой для меня.

Поплакав минут с десять, Фустов встал, лег на диван, повернулся лицом к стене и остался неподвижен. Я подождал немного, но видя, что он не шевелится и не отвечает на мои вопросы, решился удалиться. Я, быть может, взвожу на него напраслину, но едва ли он не заснул. Впрочем, это еще бы не доказывало, чтоб он не чувствовал огорчения... а только природа его была так устроена, что не могла долго выносить печальные ощущения... Уж больно нормальная была природа!

XXVI

На следующий день, ровно в одиннадцать часов, я был на месте. Тонкая крупа сеялась с низкого неба, мороз стоял небольшой, готовилась оттепель, но в воздухе ходили резкие, неприятные струи... Самая была великопостная, простудная погода. Я застал г. Ратча на крыльце его дома. В черном фраке с плерезами, без шляпы на голове, он суетился, размахивал руками, бил себя по ляжкам, кричал то в дом, то на улицу, в направлении тут же стоявших погребальных дрог с белым катафалком и двух ямских карет, возле которых четыре гарнизонные солдата в траурных мантиях на старых шинелях и траурных шляпах на сморщенных глазах задумчиво тыкали

в рыхлый снег ручками незажженных факелов. Седая шапка волос так и вздымалась над красным лицом г. Ратча, и голос его, этот медный голос, обрывался от натуги. «Что же ельнику! ельнику! сюда! Ветвей еловых! — возопил он,— сейчас гроб выносить будут! Ельнику! Валите ельнику! Живо!» — воскликнул он еще раз и вскочил в дом. Оказалось, что, несмотря на мою аккуратность, я опоздал: г. Ратч счел за нужное поспешить. Служба уже отошла: священники,— из коих один имел камилавку, а другой, помоложе, очень тщательно расчесал и примаслил волосы,— появились вместе с причтом на крыльце. Вскоре показался и гроб, несомый кучером, двумя дворниками и водовозом. Г-н Ратч шел сзади, придерживаясь концами пальцев за крышку, и все твердил: «Легче, легче!» За ним вперевалочку плелась Элеонора Карповна, в черном платье, тоже с плерезами, окруженная всем своим семейством; после всех выступал Виктор в новеньком мундире, при шпаге, с флером на рукоятке. Носильщики, кряхтя и перекоряясь, поставили гроб на дроги; гарнизонные солдаты зажгли факелы, которые тотчас же затрещали и задымились, раздался плач забредшей салопницы, дьячки запели, снежная крупа внезапно усилилась и завертелась «белыми мухами», г. Ратч крикнул: «С богом! трогай!» — и процессия тронулась. Кроме семейства г. Ратча, провожавших гроб было всего пять человек: отставной, очень поношенный офицер путей сообщения с полинялою лентой Станислава на шее, едва ли не взятый на прокат; помощник квартального надзирателя, крошечный человек, с смиренным лицом и жадными глазами; какой-то старичок в камлотовом капоте; чрезвычайно толстый рыбный торговец в купеческой синей чуйке и с запахом своего товара — и я. Отсутствие женского пола (ибо не было возможности причислить к нему двух теток Элеоноры Карповны, сестер колбасника да еще какую-то кривобокую девицу в синих очках на синем носе), отсутствие приятельниц и подруг меня сперва поразило; но, поразмыслив, я сообразил, что Сусанна, с ее нравом, воспитанием, с ее воспоминаниями, не могла иметь подруг в той среде, где она жила. В церковь набралось довольно много народу, незнакомых еще больше, чем знакомых, что можно было видеть по выражению их лиц. Отпевание продолжалось недолго. Удивляло меня то, что г. Ратч крестился весьма истово, совершенно как

православный, и едва ли не подтягивал дьячкам, впрочем, одними нотами. Когда же, наконец, пришлось прощаться с покойницей, я низко поклонился ей, но не дал ей последнего лобызания. Г-н Ратч, напротив, очень развязно исполнил этот страшный обряд, с почтительным наклонением корпуса пригласил к гробу офицера со Станиславом, точно угощая его, и высоко, с размаха, поднимая подмышки своих детей, поочередно подносил их к телу. Элеонора Карповна, простившись с Сусанной, вдруг разрюмилась на всю церковь; однако скоро успокоилась и все спрашивала раздраженным шепотом: «А и где же мой ридикюль?» Виктор держался в стороне и всею своею осанкой, казалось, хотел дать понять, как далек он от всех подобных обычаев и как он только долг приличия исполняет. Больше всех изъявил сочувствия старичок в капоте, бывший лет пятнадцать тому назад землемером в Тамбовской губернии и с тех пор не видавший Ратча; он Сусанны не знал вовсе, но успел уже выпить две рюмки водки в буфете. Тетушка моя также приехала в церковь. Она почему-то узнала, что покойница была именно та дама, которая посетила меня, и пришла в волнение неописанное! Подозревать меня в дурном поступке она не решалась, но изъяснить такое странное стечение обстоятельств также не могла... Чуть ли не вообразила она, что Сусанна из любви ко мне решилась на самоубийство, и, облекшись в самые темные одежды, с сокрушенным сердцем и слезами, на коленях молилась об успокоении души новопреставленной, поставила рублевую свечу образу Утоления печали... «Амишка» также с ней приехала и также молилась, но больше все на меня посматривала и ужасалась... Эта старая девица была, увы! ко мне неравнодушна. Выходя из церкви, тетушка раздала бедным все свои деньги, свыше десяти рублей.

Кончилось, наконец, прощание. Принялись закрывать гроб. В течение всей службы у меня духа не хватило прямо посмотреть на искаженное лицо бедной девушки; но каждый раз, как глаза мои мельком скользили по нем, «он не пришел, он не пришел», казалось мне, хотело сказать оно. Стали взводить крышу над гробом. Я не удержался, бросил быстрый взгляд на мертвую. «Зачем ты это сделала?» — спросил я невольно... «Он не пришел!» — почудилось мне в последний раз...

Молоток застучал по гвоздям, и все было кончено.

XXVII

Вслед за гробом двинулись мы на кладбище. Нас было всех человек сорок, разнокалиберная, в сущности праздная толпа. Больше часу продолжалось томительное шествие. Погода делалась все хуже. Виктор с полдороги сел в карету, но г. Ратч выступал бодро по талому снегу; точно так он, должно быть, выступал, и тоже по снегу, когда, после рокового свидания с Семеном Матвеичем, он с торжеством вел к себе в дом навсегда погубленную им девушку. Волосы «ветерана», его брови опушились снежинками; он то пыхтел и покрикивал, то, мужественно забирая в себя дух, округлял свои крепкие бурые щеки... Право, можно было подумать, что он смеется. «После моей смерти пенсия должна перейти к Ивану Демьянычу»,— вспоминались мне опять слова Сусанниной тетрадки. Пришли мы, наконец, на кладбище; добрались до свежевырытой могилы. Последний обряд совершился скоро: все продрогли, все торопились. Гроб на веревках скользнул в зияющую яму; принялись забрасывать ее землей. Г-н Ратч и тут показал бодрость своего духа; он так проворно, с такою силой, с таким размахом бросал комки земли на крышу гроба, так выставлял при этом ногу вперед и так молодецки закидывал свой торс... энергичнее он бы не мог действовать, если б ему пришлось побивать каменьями лютейшего своего врага. Виктор попрежнему держался в стороне; он все кутался в шинель и проводил подбородком по бобру воротника; остальные дети г. Ратча усердно подражали родителю. Швырять песком и землей доставляло им великое удовольствие, за что их, впрочем, и винить нельзя. Холмик появился на месте ямы; мы уже собирались расходиться, как вдруг г. Ратч, повернувшись по-военному налево кругом и хлопнув себя по ляжке, объявил нам всем, «господам мужчинам», что он приглашает нас, а также и «почтенное священство», на «поминательный» стол, устроенный в недальнем расстоянии от кладбища, в главной зале весьма приличного трактира, «стараньями любезнейшего нашего Сигизмунда Сигизмундовича...» При этих словах он указал на помощника квартального надзирателя и прибавил, что, при всей своей горести и лютеранской религии, он, Иван Демьянов Ратч, как истый русский человек, дорожит пуще всего русскими древними

обычаями. «Супруга моя, — воскликнул он, — и какие с нею пожаловали дамы, пускай домой поедут, а мы, господа мужчины, помянем скромной трапезой тень усопшея рабы твоея!» Предложение г. Ратча было принято с искренним сочувствием; «почтенное» священство как-то внушительно переглянулось между собой, а офицер путей сообщения потрепал Ивана Демьяныча по плечу и назвал его патриотом и душою общества.

Мы отправились гуртом в трактир. В трактире, посреди длинной и широкой, впрочем, совершенно пустой комнаты второго этажа, стояли два стола, покрытые бутылками, яствами, приборами и окруженные стульями; запах штукатурки, соединенный с запахом водки и постного масла, бил в нос и стеснял дыхание. Помощник квартального надзирателя, в качестве распорядителя, усадил священство за почетный конец, на котором преимущественно столпились кушанья постные; вслед за духовенством уселись прочие посетители; пир начался. Не хотелось бы мне употреблять такое праздничное слово: пир, но всякое другое слово не соответствовало бы самой сущности дела. Сперва все шло довольно тихо, не без оттенка унылости; уста жевали, рюмки опорожнялись, но слышались и вздохи, быть может, пищеварительные, а быть может, и сочувственные; упоминалась смерть, обращалось внимание на краткость человеческой жизни, на бренность земных надежд; офицер путей сообщения рассказал какой-то, правда военный, но наставительный анекдот; батюшка в камилавке одобрил его и сам сообщил любопытную черту из жития преподобного Ивана Воина; другой батюшка, с прекрасно причесанными волосами хоть обращал больше внимания на кушанья, однако также произнес нечто наставительное насчет девической непорочности; но понемногу все изменилось. Лица раскраснелись, голоса́ загомонели, смех вступил в свои права; стали раздаваться восклицания порывистые, послышались ласковые наименованья вроде: «братца ты моего миленького», «душки ты моей», «чурки» и даже «свинтуса этакого»; словом, посыпалось все то, на что́ так щедра русская душа, когда станет, как говорится, нараспашку. Когда же, наконец, захлопали пробки цимлянского, тут уже совсем шумно стало: некто даже петухом прокричал, а другой посетитель предложил изгрызть зубами и проглотить рюмку, из которой

только что выпил вино. Г-н Ратч, уже не красный, а сизый, внезапно встал с своего места; он и до того времени много шумел и хохотал, но тут он попросил позволения произнесть спич. «Говорите! Произносите!» — заголосили все; старик в капоте закричал даже: «браво!» и в ладоши захлопал... впрочем, он сидел уже на полу. Г-н Ратч поднял бокал высоко над головой и объявил, что намерен, в кратких, но «впечатлительных» выражениях, указать на достоинства той прекрасной души, которая, «оставив здесь свою, так сказать, земную шелуху (die irdische Hülle), воспарила в небеса и погрузила...— г. Ратч поправился: — и погрязла...— Он опять поправился: — и погрузила...»

— Отец дьякон! Почтеннейший! Душа! — послышался сдержанный, но убедительный шепот. — Горло, говорят, у тебя адское; уважь, грянь: «Мы живем среди полей!»

— Шш! шш!.. Полно вам! Что это! — промчалось по устам гостей.

— ... Погрузила все свое преданное семейство,— продолжал г. Ратч, бросив строгий взор в направлении любителя музыки,— погрузила все свое семейство в ничем не заменимую печаль! Да! — воскликнул Иван Демьяныч,— справедливо гласит русская пословица: «Судьба гнет не тужит, переломит...»

— Стойте! Господа! — закричал внезапно чей-то хриплый голос на конце стола,— у меня сейчас кошелек украли!

— Ах, мошенник! — запищал другой голос, и — бац! раздалась пощечина.

Господи! Что тут произошло! Точно дикий зверь, который до тех пор лишь изредка ворчал и шевелился в нас, вдруг сорвался с цепи и встал на дыбы, во всей безобразной красе своего взъерошенного загривка. Казалось, все втайне ожидали «скандала», как естественной принадлежности и разрешения пира, и так ринулись все, так и подхватили... Тарелки, стаканы зазвенели, покатились, стулья опрокинулись, поднялся пронзительный крик, руки замахали по воздуху, фалды взвились, и завязалась драка!

— Лупи его! лупи его! — заревел, как исступленный, мой сосед, рыбный торговец, казавшийся до того мгновенья самым смирным человеком в мире; правда, он выпил в молчанку стаканов десять вина.— Лупи его!..

Кого лупить, за что лупить, он не имел понятия, но ревел неистово.

Помощник квартального надзирателя, офицер путей сообщения, сам г. Ратч, который, вероятно, никак не ожидал, что его красноречию будет положен такой скорый конец, попытались было восстановить тишину... но усилия их оказались тщетными. Мой сосед, рыбный торговец, даже на самого г. Ратча накинулся.

— Уморил девку, немчура треклятая,— закричал он на него, потрясая кулаками,— полицию подкупил, а теперь куражишься?!

Тут прибежали половые...

Что произошло дальше, я не знаю; я поскорей схватил фуражку, да и давай бог ноги! Помню только, что-то страшно затрещало; помню также остов селедки в волосах старца в капоте, поповскую шляпу, летевшую через всю комнату, бледное лицо Виктора, присевшего в углу, и чью-то рыжую бороду в чьей-то мускулистой руке... Это были последние впечатления, вынесенные мной из «поминательного пира», устроенного любезнейшим Сигизмундом Сигизмундовичем в честь бедной Сусанны.

Отдохнув несколько, я отправился к Фустову и рассказал ему все, чему я был свидетелем в течение того дня. Он выслушал меня сидя, не поднимая головы, и, подсунув обе руки под ноги, промолвил опять: «Ах, моя бедная, бедная!» — и опять лег на диван и повернулся ко мне спиной.

Неделю спустя он уже совершенно оправился и зажил попрежнему. Я попросил у него тетрадку Сусанны на память; он отдал ее мне безо всякого затруднения.

XXVIII

Прошло несколько лет. Тетушка моя скончалась; я из Москвы переселился в Петербург. В Петербург переехал и Фустов. Он поступил в министерство финансов, но я виделся с ним редко и не находил уже в нем ничего особенного. Чиновник, как и все, да и баста! Если он еще жив и не женат, то, вероятно, и доселе не изменился: точит и клеит, и гимнастикой занимается, и сердца пожирает попрежнему, и Наполеона в лазоревом мундире рисует в альбомы приятельниц. Мне пришлось как-то

съездить в Москву, по делам. В Москве узнал я, признаюсь, к немалому моему удивлению, что обстоятельства моего бывшего знакомца, г. Ратча, приняли оборот неблагоприятный: супруга его, правда, подарила ему еще двойню, двух мальчиков, которых он, «коренной русак», окрестил Брячеславом и Вячеславом, но дом его сгорел, он принужден был подать в отставку, и главное — его старший сынок, Виктор, так и не выходил из долгового отделения. Во время моего пребывания в Москве в одном обществе при мне упомянули о Сусанне, и самым невыгодным, самым оскорбительным образом! Я всячески постарался заступиться за память несчастной девушки, которой судьба отказывала даже в милостыне забвения, но мои доводы не произвели большого впечатления на моих слушателей. Одного из них, молодого студента-поэта, я, однако, поколебал. Он прислал мне на другой день стихотворение, которое я позабыл, но которое оканчивалось следующими четырьмя стихами:

Но и над брошенной могилой
Не смолкнул голос клеветы...
Она тревожит призрак милый
И жжет надгробные цветы![1]

Я прочел эти стихи и невольно погрузился в думу. Образ Сусанны возник передо мной; я опять увидал то замороженное окно в моей комнате; я вспомнил тот вечер, и порывы снежной вьюги, и те слова, те рыданья... Я начал размышлять о том, чем возможно было объяснить любовь Сусанны к Фустову и почему она так скоро, так неудержимо предалась отчаянию, как только увидала себя оставленною? Почему не захотела подождать, услышать горькую правду из собственных уст любимого человека, написать ему письмо, наконец? Как возможно так сейчас броситься в бездну вниз головой?— Оттого, что она страстно любила Фустова,— скажут мне; оттого, что она не могла перенести малейшего сомнения в его преданности, в его уважении к ней. Может быть; а может быть, и то, что она вовсе не так страстно любила Фустова; что она не ошиблась в нем, а только возложила

[1] Неточная цитата из стихотворения Н. В. Станкевича «На могиле Эмилии» (1834).

на него свои последние надежды и не в состоянии была примириться с мыслию, что даже *этот* человек тотчас, по первому слову сплетника, с презрением отвернулся от нее! Кто скажет, что ее убило: оскорбленное ли самолюбие, тоска ли безвыходного положения, или, наконец, самое воспоминание о том первом, прекрасном, правдивом существе, которому она, на утре дней своих, так радостно отдалась, который так глубоко был в ней уверен и так уважал ее? Кто знает: быть может, в то самое мгновенье, когда мне казалось, что над ее мертвыми устами носилось восклицание: «Он не пришел!», быть может, ее душа уже радовалась тому, что ушла сама к нему, к своему Мишелю? Тайны человеческой жизни велики, а любовь самая недоступная из этих тайн... но все-таки до сих пор, всякий раз, когда образ Сусанны возникает предо мной, я не в силах подавить в себе ни сожаления к ней, ни упрека судьбе, и уста мои невольно шепчут: «Несчастная! несчастная!»

1869 г.

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Тургенев
Иван Сергеевич

НЕСЧАСТНАЯ

Редактор *Д. Дзюбак*
Художник *В. Милаев*
Худож. редактор *Ю. Клодт*
Техн. редактор *В. Перцов*
Корректор *А. Сергиенко*

*

Сдано в набор 13/VIII 1956 г. Подписано к печати 14/XI 1956 г. Бумага 84×108 1/32 — 2,75 печ. л. 4,51 усл. печ. л. 4,33 уч.-изд. л. Тираж 500000 экз.
Заказ № 1151. Цена 85 коп.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Новобасманная, 19

*

Полиграфкомбинат Главного управления издательств и полиграфической промышленности Министерства культуры Арм. ССР, Ереван, ул. Теряна, 91.

85 коп.

ГОСЛИТИЗДАТ